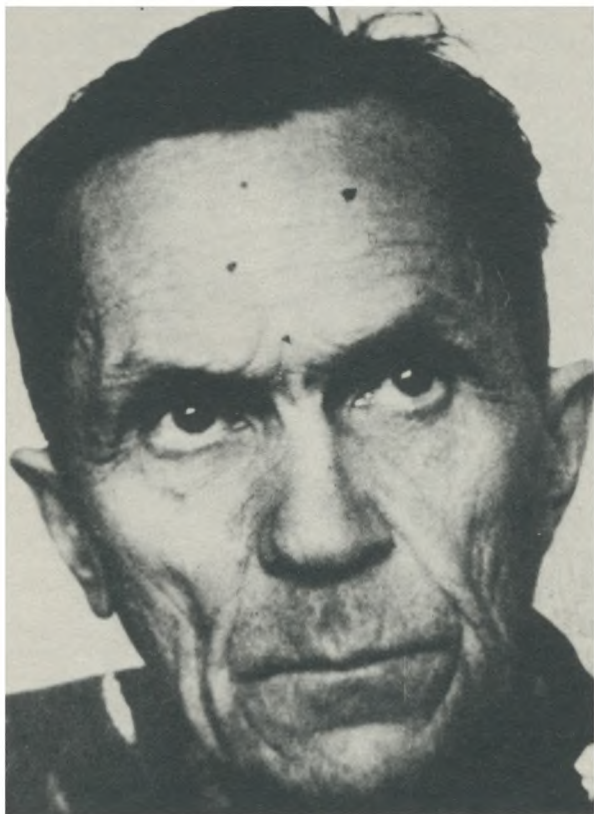


Варлам Шаламов
ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

**ВОСКРЕШЕНИЕ
ЛИСТВЕННИЦЫ**



1968

Варлам Шаламов

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Предисловие М. Геллера

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris

1985

Того же автора:

**Колымские рассказы, третье издание, 1985.
Избранные стихи (готовится к печати).**

ВТОРАЯ КНИГА

*Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.*

Варлам Шаламов

Книга "Колымских рассказов" дошла к автору накануне смерти. Он успел подержать ее в руках. После смерти писателя его друзья начали присылать — разрозненными листками — рукописи рассказов, стихов, воспоминаний. Вторая книга Варлама Шаламова — дань друзей: без них она не смогла бы появиться.

Воскрешение лиственницы составлено из разнородных текстов — автобиографии, биографической повести, лагерных рассказов. Объединяет их, сливает в целость, сюжет — судьба человека, судьба автора. Все писатели — в той или иной степени — используют свой жизненный опыт в книгах, которые сочиняют. Варлам Шаламов превратил в литературу свою жизнь. Для него нет раздела между жанрами: стихи, проза, автобиография — Шаламов пишет о себе, о своих чувствах, своих страданиях, своей борьбе. Обнаженная до предела искренность, исповедальность — особенность шаламовского творчества, неотделимое от таланта качество.

Во второй книге это свойство прозы Шаламова проявляется с особой очевидностью. *Воскрешение лиственницы* открывается "Кратким жизнеописанием Варлама Шаламова", автобиографией, которую писатель не успел закончить.

Рукопись – трагическое свидетельство: силы уходят, почерк становится все неразборчивее, карандаш выпадает из рук. "Четвертая Вологда" – биографическая повесть, детство и юность будущего автора "Колымских рассказов". В русской литературе мало книг, в которых с подобной силой и откровенностью созревание юноши было бы изображено как противоборство между сыном и отцом. Вспоминая события полувековой давности, писатель сохранил поразительную живость памяти: старая боль ощущается, как вчера нанесенная рана. Боль, любовь, ненависть – создают особую напряженность рассказа о созревании бунтаря. Детство и юность Шаламова – бунт против отцовского авторитета, который перерастает, быть может и потому, что отец был священником, в – бунт против Бога. Мальчик, потом юноша растет в непрекращающейся борьбе за человеческое достоинство, за право быть собой, за независимость и свободу духа.

Варлам Шаламов растет в русской провинции, в городе ссыльных, где ожидание перемен носится в воздухе. Он видит приход революции, опьянение ею и отрезвление. Он становится свидетелем гибели надежд, города, людей. Трагична судьба его семьи. Сын священника, он становится изгоем – с великим трудом удастся ему продолжить образование в Москве.

В "Кратком жизнеописании Варлама Шаламова" писатель успел рассказать о причинах первого ареста: не будучи членом партии, он примкнул к оппозиции, ибо оппозиционеры "были единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу", как он называет Сталина.

Тюрьма, лагерь – неизбежно ждали Шаламова. Бунтарям не было места в стране, в которой в октябре 1917 г. произошла "последняя революция", как говорит в романе "Мы" Замятин. Впервые Варлам Шаламов попадает в лагерь в 1929 г. – в это время начинается решающий этап "перебирания

людишек”, просеивание народа, с целью отделить послушных от непослушных (или потенциально непослушных).

В годы “оттепели” будут говорить о сталинском времени, как о лотерее, в которой — по воле случая — можно было проиграть или выиграть жизнь. Хрущев вспоминал: “Я вытащил счастливый лотерейный билет”. У Шаламова был беспроигрышный билет: отсидев первый срок в первом советском концлагере СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения), он, после короткого перерыва, снова в лагере. На этот раз в приговоре специально указывается — “с отбытием срока на Колыме”.

Шаламов не различал своих рассказов в зависимости от лагеря, в котором происходит действие, — СЛОН или Колыма. В плане книги “Колымские рассказы”, которую писатель составил в 60-е годы в надежде на публикацию,* Магадан и Вишера — соседи. Лагерь — место, где человек подвергается испытанию. Из лагеря в лагерь, опускаясь по ступеням ада, выдержать пробу становится все труднее и труднее. Испытав все круги, писатель знает, что наступает предел, когда человек не выдерживает, ломается, сдается. Зная это, Шаламов настаивает на необходимости и возможности держаться и тогда, когда, казалось бы, исчерпаны все силы. Он верит в то, что на самом дне человеческой души можно найти последним усилием воли жажду свободы, стремление к бунту.

Первый из 12 лагерных рассказов, вошедших в *Воскрешение лиственницы*, называется “У стремени”. Так, очень сжато, можно определить нравственный (но также психический и физический) конфликт, представленный Варламом Шаламовым в его лагерной книге, во всем его творчестве: быть рабом, стоять “у стремени” — или быть свободным. Осип Манделштам в 1931 г., когда Шаламов выходил “из маленькой командировки в большую”, писал:

*) Этот план был использован в изданной книге.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
С шапкой в руках, шапку в рукав —
И да хранит тебя Бог!

Шаламов отказывается стоять "у стремени", так же, как и Осип Мандельштам — "с шапкой в руках". Судьба их будет похожей, хотя Шаламову удастся выжить в ледяном Освенциме Колымы. Поэт — просит помощи Бога. Автор "Колымских рассказов" не перестает отрицать необходимость Бога, не прекращает спора с Ним. Богоборчество Шаламова становится выражением глубокой потребности в вере. И без удивления мы видим, что к сборнику стихов "Из Колымских тетрадей" * Варлам Шаламов дает в 1969 г. эпиграф из Блока:

И пусть над нашим смертным ложем
Взвьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое.

То, что можно назвать "религиозным богоборчеством" Шаламова, сближает его с такими писателями, как Евгений Замятин и Андрей Платонов, изобразившими судьбу человека в мире, в котором "все дозволено", ибо Бога нет.

17 января 1982 г. Варлам Тихонович Шаламов умер. Советские писательские учреждения известили о смерти "известного советского поэта". Это объявление — несомненный прогресс по сравнению с извещением о смерти "члена Литфонда Б.Л. Пастернака". Но и оно — лживо. Несомненно, Варлам Шаламов — был поэтом, как Борис Пастернак — членом Литфонда. Но это та самая "правда", что хуже всякой лжи.

Варлам Шаламов, один из крупнейших писателей нашего века, останется в литературе автором "Колымских рассказов". Вторая книга — "Воскрешение лиственницы" — позволяет лучше понять, кем был Шаламов, как стал он автором "Колымских рассказов".

Михаил Геллер

*) 90 стихотворений 1937-1956 гг., собранные Варламом Шаламовым в сборник "Из Колымских тетрадей".

**КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА,
СОСТАВЛЕННОЕ ИМ САМИМ.**

К "Краткому жизнеописанию..."

Варлам Шаламов работал над биографией до конца жизни – возможно, это последний текст, написанный его рукой. Он не успел закончить "Краткое жизнеописание", дойдя лишь до 1945 г. Предсмертная биография была очень сжатым изложением того, о чем было рассказано в "Колымских рассказах". Коротенькая фраза: "Чтение по гаранинским спискам" возвращает нас к рассказу "Как это началось": "Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты – из "бытовиков" – играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевевым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова... Каждый список кончался одинаково: "Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин". О том, как спас его следователь Скановский, Шаламов рассказал в "Заговоре юристов" – следователь назван "капитан Ребров", а заключенный – "Крист". В нескольких рассказах вспоминаются доносчики – И. Заславский и М. Кривицкий.

"Заговор юристов" заканчивается словами: "Почерк Криста был спасительным, каллиграфическим". Когда Шаламов писал "Краткое жизнеописание" – почерк становится все труднее разборчивым. Некоторые слова остались в рукописи непрочитанными.

Я родился 18 июня 1907 года в городе Вологде. Отец мой священник, православный миссионер на Алеутских островах в Северной Америке, вернувшийся в Россию после первой русской революции в 1905 году. Мать — учительница.

Первую мировую войну, революцию и гражданскую войну я пережил школьником в городе Вологде. В 1920 году на Северном фронте был убит мой брат — красноармеец, и ослеп отец, слепой [...] 13 лет, он умер в 1933 году. Мать умерла в 1934 году.

В 1923 году я окончил школу 2-ой ступени в Вологде и переехал в Москву, где и живу до сего времени. Работал на кожевенном заводе в Кунцево дубильщиком, а в 1926 году поступил в Московский университет на юридический факультет — факультет советского права, как он тогда назывался. Встретившись в университете со своими одногодниками, думал по крайней мере перевернуть мир. Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 гг. на стороне оппозиции.*

19 февраля 1929 г. арестован в засаде в одной из подпольных типографий Московского университета. Пробыл в одиночной камере (камера 25 мужского одиночного корпуса московской Бутырской тюрьмы) все время следствия — месяц.

При допросе отказывался от показаний. Приговорен Особым совещанием в то, еще догитлеровское, время к трем годам концентрационных лагерей с последующей

*) Не Троцкого — к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии, — но к рядам тех, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина. Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу.

ссылкой на Север и отвезен среди уголовных рецидивистов на Северный Урал в Вишерское отделение Соловецких Лагерьей Особого Назначения, [единственных] лагерей, которые тогда существовали в СССР.

После 16-й партийной конференции подал заявление об освобождении, но освобожден не был — сказался мой беспартийный статус на воле. Мой лагерный приговор был первым лагерным приговором оппозиционерам. В 1930 году вместе с Блюменфельдом — одним из видных оппозиционеров, членом тогдашнего центра, написал протест в связи с положением женщин в лагерях. Во время пресловутой "перековки" был в 1931 году досрочно освобожден с восстановлением во всех правах — по приказу НКВД для административных работников из заключенных, — во время одной из лагерных "разгрузок", которые время от времени проводила Москва. Зачетов рабочих дней и досрочных освобождений не было еще тогда.

Я переехал на Березниковский химкомбинат, который я же и строил в 1929-1930 годах, и работал там зав. бюро экономики труда ТЭЦ Березников до первого отпуска.

В 1932 году вернулся в Москву и работал пять лет в качестве журналиста, литератора и писателя. Перед очередной высылкой в 1932 году напечатал свой первый рассказ в журнале "Октябрь", в 1936 году — "Три смерти доктора Аустина", "Пава и Древо" в журнале "Литературный современник", воспоминания о Маяковском — в журнале "Прожектор", рассказ "Возвращение" в "Вокруг света", очерк "Карторей" — в горьковском "Колхознике".

Вновь арестован 12 января 1937 года в Москве и осужден за КРТД на пять лет с отбыванием срока на Колыме (так в приговоре).

Привезен на Колыму 12 августа 1937 года. На Колыме отвезен на прииск "Партизан" Северного горного управления, где и встретил кровавые события 1938 года. Для лагерей

1938 год — то же, что и для "воли" 1937-ой — чтение по гаранинским спискам.

Работал по 14 часов с 1938 года. Арестовывался на Колыме с заведением "дела" не один раз. От гаранинских расстрелов меня спас лагерный следователь Ск[ановский] [. . .] разорвал мое дело на моих глазах. Позднее Скановский был расстрелян и сам.

В декабре 1938 года арестован на прииске "Партизан" и отвезен в Магадан, как участник дела юристов, и находился в Магаданской тюрьме. Накануне возбуждения нашего "дела" начальник СПО капитан Стеблев был арестован сам — и всех, кто был арестован по его ордерам за последнюю неделю, выпустили на пересылку "без последствий". В конце декабря 1938 года я вышел на огромную (более 3000 человек) магаданскую пересылку, где копили людей из-за тифозного карантина.

Только в апреле магаданское начальство увезло людей в тайгу. Я задержался до последней отправки, и попал на "Черное озеро" в угольный район в разведку по углю полным инвалидом [. . .] после одного лета золотого забоя 1938 года на "Партизане". На Черном озере я работал: бил разведочные шурфы и каналы, до осени 1940 года, когда район закрыли, потому что угля в нем не нашли.

Я был перевезен на Аркагалу Угольную на Северной Колыме и работал в шахте. Угольная шахта гораздо легче открытого забоя, золотого разреза: теплее, не бьет конвой, сам уголь на [лопате] весит гораздо меньше камня, грунта, окружающего золотые жилы и россыпи.

На Аркагалинской шахте встретил войну. В это время у меня кончился пятилетний срок, в январе 1942 года я должен был выйти на волю, но освобожден не был, как, впрочем, и почти все, осужденные по "КРДТ". Несколько месяцев нас держали без всякого приговора, но в конце октября привезли какие-то бумажки, отпечатанные на машинке, где для фами-

лий оставалось место, и задержали в лагере "до конца войны" или "до особого распоряжения" — я уже сейчас не помню.

Все люди с такими "сроками" /привлекались всемогущей системой, я думаю, и Москвой тоже [. . .]. И вскоре я был арестован на Аркагале и отвезен в сталинский ДАХАУ — в спецзону Колымы на прииск "Джелгала". Это грозило смертью — но мне в то время было все равно.

На "Джелгале" зимой 1942 года я работал в горной бригаде в условиях побоев, издевательств не меньших, чем в 1938 году на "Партизане".

В 1943 году на прииске "Джелгал", где начальником особого отдела был бывший начальник Магаданского райотдела Федоров, спасшийся от взаимного истребления чекистами друг друга [. . .] в 1938 году, — человек грамотный, владеющий современной терминологией, старающийся не отступать от жизни.

По доносу И.П. Заславского и М. Кривицкого [...] я был арестован и обвинен в восхвалении гитлеровского оружия. Федоров, а также Заславский, Кривицкий считали, что делают богоугодное дело, ибо уничтожить физически врага партии — основной лозунг дня, провозглашенный Сталиным.

"Кадровый троцкист и враг партии Шаламов" — так начинались все документы обо мне того времени, исходящие от Заславского, Кривицкого, Федорова.

Это все узналось впоследствии. Я был осужден на десять лет. Тут был небольшой просчет Федорова — [меня судили в годовщину войны] — после давления на трибунал с уже смертным приговором/.

В совершенно беспомощном состоянии, доходягой из доходяг, я двигался от забоя к больнице и обратно, и опять возвращался в забой.

Я много лежал в больницах Колымы, столько, сколько могли держать. Так прошла война, а я все еще был то в забое, то на больничной койке.

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА
(Автобиографическая повесть)

К "Четвертой Вологде"

Варлам Шаламов не смог перечитать машинописный текст своей автобиографической повести. Составитель, оставив текст без всяких поправок, устранил повторения. Несколько примечаний оказались необходимыми, ибо автор, полагавшийся только на свою память, в ряде случаев ошибся, говоря об исторических событиях. Ряд слов пропущен в рукописи. Их предположительное значение дано в квадратных скобках.

I – II

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая.

Четвертую я пишу в шестьдесят четыре года от роду... Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее во имя четвертого времени – искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?

Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом – с сорока. Проза – это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного, и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы новой, неизвестной еще никому. Проза – это формула тела и в то же время – формула души.

Поэзия – это прежде всего судьба – итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления – тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия это и опыт – личный, личнейший опыт и найденный путь утверждения этого опыта – непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может важное только для себя.

Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе – очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия – прозой.

Я начинал со стихов, с мычания ритмического, шаманского покачивания — но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр "Отче наша".

Тогда мне не было понятно, что поэзия — это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот Шекспира и Гете и что никакие Арины Родионовны не остановят ее развития. Путь этот — необратим.

Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.

Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, — а торможение внешнего мира и есть процесс писания — я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в "фантики", моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью.

*

Вологда — не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город — место ссылки или кандалный транзит для многих деятелей Сопротивления — от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Луначарского до Германа Лопатина. Нет в русском освободительном движении скольконибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее — либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровью вологодскую почву, либо, обрывая эти корни — бежал.

Вот этот классический круговорот русского освободительного движения — Петербург-тюрьма-Вологда-заграница, Петербург-тюрьма-Вологда и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению — были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты — передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду — вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами — гастролирующими пророками столичной и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в "Лесе" Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду — было самым документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание и помощь и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты — общество вологодских ссыльных.

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь — Восточная и Западная — не имели такого особенного, нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

Есть три Вологды.

Первая Вологда — это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо "красивый" говорят "баской", а в слове "корова" не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба "о" произносят как "у", что и составляет фонетическую

особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда — это многочисленное крестьянство подгороднее, — молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.

В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи — человеческий тип синантропа не многим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. — Фашизм, да и не только фашизм показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.

Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая — все равно — земного или небесного.

Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.

Революция вошла в села решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христоробивой Вологде.

Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.

Подобно тому, как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому, как калужане — землекопы, а ярославцы — торгаши, конвойная служба от века и

и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки.

Выражение — "вологодский конвой шутить не любит" вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции и дошло до наших дней.

Я был поражен, читая в "Былом" протоколы "дела Нечаева" — подготовку его удивительного побега из Шлиссельбурга. Вся охрана Шлиссельбурга — а ее судили за подготовку побега Нечаева — состояла из вологжан.

Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.

Нечаев — и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно карцера самого глухого в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом Народной Воли, переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта — убийства царя. На цареубийстве были сосредоточены все силы Народной Воли. Нечаеву самому дали решить этот вопрос и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, — ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят. Действительно, после цареубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить Нечаевский побег, и сам Нечаев умер безымянным через несколько лет естественной тюремной смертью. Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом — протоколы их допросов печатались в "Былом".

Каким же путем приобрел Нечаев такое влияние на своих часовых?

Можно допустить исключительный талант Нечаева в конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.

И все же — с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?

Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самоожожения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.

Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И — не был расстрелян. Не был застрелен, избит или задушен.

Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.

Случай, небывалый случай подвергся обсуждению в общезнании конвоиров.

Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева — Нечаев продолжал жить.

— Это, наверно, брат или родственник царя, — вот единственное объяснение, которое нашел конвой.

А если так, действительно так, действительно так говорили конвоиры, — нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет в порошок.

Нечаев, гений всякой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к "Народной Воле". И переписка Нечаева с народовольцами началась.

А когда Александр Второй был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский — главный физический убийца Судейкина. Старо-

дворский во время следствия стал осведомителем и придя в Шлиссельбург выдал Нечаева. Нечаеву то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.

Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жандармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине — донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.

Потапов прослужил царю еще много лет, и о пощечине документы были опубликованы лишь в "Былом" — в 1907 г.

Итак, первая Вологда — это деревенское стяжательство и верная служба режиму.

К этой же первой Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.

Вторая Вологда — это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.

Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру — говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, — крепости-монастыри, военные склады транзитные могучей транспортной артерии страны.

Россия Ивана Грозного — Север, Ермак. Россия Петра — Балтика. Россия Николая — Россия Юга, Черного моря.

Вологда была и местом героических сражений — война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.

Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы.

Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы. ВОЛОГДА БЫЛА В ОПРИЧНИНЕ, СТРАСТ-

НОЕ ПИСЬМО КУРБСКОГО НАПИСАНО В ВОЛОГОДСКОЙ ТЮРЬМЕ. *

Москву Грозный не любил и боялся.

Грозный бывал в Вологде не один раз.

Софийский кафедральный собор, "Холодный собор", как его звали в нашей семье, был построен в честь царя и Грозный был на освящении храма.

"Холодным" собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор — с печами, более теплый, где и молились.

И пасхальные и рождественские службы проходили в "теплом" соборе, и только летом железные двери Софийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.

Но Троицу, Духов день службы служили в холодном соборе.

Высоченные колонны уносили вверх расписанное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычайным земным свершениям.

Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князя и отцы Церкви.

К алтарю ставился обыкновенный иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.

Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свячей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх — на ногу ангела, из которой выпал камень.

Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги

*) Князь Курбский писал обличительные письма царю Ивану из Литвы, куда бежал в 1564 г. из Юрьева.

царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение — Вологда не стала столицей России.

Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне и обстояло дело.

И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.

Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань "паблисити" и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.

Я много раз бывал в этом храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту — след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.

Софийский собор — это храм холодный, и даже в официальной переписке и в газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором с большой буквы, — будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.

В моем детском мозгу слово Софийский не отражалось, не держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.

Это — угрюмый храм, хоть и красивый — нет в нем душевной теплоты.

Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают

знать, что близится Страшный Суд — в земной ли его, либо в апокалиптической сущности — было для храма, для священников и для причта и для молящихся и, вероятно, для Бога — все равно.

Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.

Рублевские или околорублевские фрески заполнили весь храм и суть Рублевской школы в ее заземленности — в смещении неба и земли, ада и рая.

И действительно — не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепеща сами земные люди — ближе к входу, он же и выход — это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу — а сам храм — во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.

Для того, чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора — рядом стоит зимний, теплый, уютный собор — где бывать не интересно, защищенный от всех ветров и дождей, от всех к а п р и з о в метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы — робкие, свечи — полуприглушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме — он с его архитектурой и иконами держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все — современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.

Вблизи нет зданий, которые могли сравниться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь — ценность зодчества, равная Кижам — церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды. В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя — Варлаам — в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы "а".

Церковь эта — классический памятник русской архитектуры XVII века.

Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.

В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помещанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилуцком монастыре – в семи верстах от Вологды.

Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Мариинская женская гимназия и где учились мои сестры – есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом – в двухстах метрах от нашего дома.

Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное – от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: "О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной", но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом, – более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина – русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского – стояла бы на своем месте. Лермонтова возможно бы не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским – Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.

Это – не хула Лермонтову, не хула Пушкинской плеяде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.

К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.

Петр Первый постройкой Петербурга взял совсем другой курс: "ногою твердой встать при море" – Балтийском. "Прошло сто лет и юный град..." Прошло сто лет и другой выдающийся русский император сумел "ногою твердой стать при море" – Черном. Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.

Николай Первый — фигура мало оцененная и историками и писателями, как судьями историков. Ошибался, это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма — железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права * — [деятельность] чрезвычайно энергичного международного политика — все это забыто.

В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.

Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай — фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.

Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: "Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало".

Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске и в Вологде.

Петр ориентировал Вологду на Петербург — стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов вроде Чаадаева — история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях — в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.

Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции — в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.

Вологда была провинцией и для Петербурга и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным,

*) В. Шаламов ошибается — манифест об освобождении крестьян был подписан в 1861 г. Александром Вторым.

городом, где деятели будущего могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.

Третья Вологда обращено духовно, а зачастую и физически, материально — к западу, к обеим столицам — Петербургу и Москве, и тому, что стоит за этими столицами — Европе, Миру с большой буквы.

Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным и по физическим причинам. Для этих ссыльных — сколько бы поколений ни жили они в городе, Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.

Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.

Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.

Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно — ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.

Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской Коммуны — по железной дороге Вологда-Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.

Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, быстрее, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и заманчивей.

Тех ссыльных, кто не бежал — освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.

Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду — Вологду ссыльных — бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.

Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью — и в буквальном и в переносном смысле.

Споры ссыльных между собой — это не споры о пальце Ивана Грозного — а о будущем России, о смысле жизни.

Временность ссылки не подменяет временности земного бытия — свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом — свободомыслием Джефферсона, Франклина.

Доклад о современных революционных движениях лубой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно — на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.

Политика здесь как всегда выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком или о таком кумире русской провинции как Некрасов. "Колокол" Герцена, а не только "Кто виноват" — идет нарасхват.

Естественно, что отец — шаман и сын шамана, вернулся после двенадцати лет заграничной службы скрытно образованным человеком — вернулся не к первой Вологде, — отсюда он вышел родом, не ко второй — исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде — Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами — по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.

Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре — в шахматы отец не умел играть, а то я бы применил другое сравнение — отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.

И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.

Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.

Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум — отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал... Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.

У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы "обязательная школа", "техминимум революции", — выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа может была и побольше, чем техникум, — вроде гимназического диплома.

Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.

В этой легкости — ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам, — ночь до Москвы, ночь до Питера, создавало для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.

Сколько сослали — столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.

Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда — это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.

Вологодская ссылка была [находкой] либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.

Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.

Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более.

Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.

Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и — в более широком смысле — Сибирь.

Для русского освободительного движения Вологда — это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.

Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.

Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.

Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе — тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: "В чем смысл жизни?" В.А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.

Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни — Поссе немного опоздал — все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиэтетом.

Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.

Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого догматика, каким был я.

Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.

Каждый уезжавший ссыльный — это было традицией — жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки — тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.

III

Резкой металлической дробью шелкал рукомойник и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в "парадное", выпуская отца на улицу, звякал тяжелый ключ, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда. Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.

Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.

Каждому выдавалась серебряная ложка: ставилось молоко — топленое и обыкновенное, и сахарный песок наполнял сахарницу — отец не признавал никакого другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если и пироги — то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.

Праздников впрочем в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году — когда пироги могли быть традицией.

Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети — отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной какой-то особенной ложечкой, которая шелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.

Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной

материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.

Но дома подавался хлеб только домашний и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.

Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания — уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.

И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась и отец уходил.

Эти золотые часы — американский полухронометр хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных например, в нашем доме не было.

Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы — не золотые, а только позолоченные — тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь — были со мной на Колыме после освобождения и вернулись в Москву, и живут до сих пор у меня.

IV

Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести человек, а когда родился я — из семи человек в казенном соборном доме для причта — старинной постройки, охраняемой государством сейчас — как дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.

Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.

Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаваний во время "славления", привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались — отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.

Вторым достоинством этой службы была близость к реке — от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец — рыбак и охотник, считал весьма важным.

Недалеко был и базар.

При квартире во дворе стояли сарай, "дровеники" на ярком вологодском диалекте, были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.

Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.

Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты — ни в детстве ни в молодые годы.

Отец — полузырянин, выходец из самой глуши устьсы-сольских деревень — считал, видимо, такую возможность излишней, и прежде всего по педагогическим соображениям.

Позднее, я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, адвоката, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имели отдельные комнаты.

Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне моим детским

разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.

По резкому звонку — электричества в доме нашем не было — открывалась обитая клеенкой дверь "парадного" и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться "парадным" для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры, попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколотая визитная карточка отца.

Дверь эту я вспоминаю по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад: боярышника, березы вихри кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.

Другая причина — та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец — палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.

Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца.

В прихожей, где впрочем [мне] не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в залу. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось — для детей было открыто только черное крыльцо.

Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме — свет доходил только через дверь ведущую в залу и дверь ведущую на кухню — но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой — тогда зажигали лампу-пятилинейку, вешали на стену. Мы действовали в шкафу наощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.

Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение паблисити.

В шкафу висела повседневная одежда отца — хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рысы самого модного и дорогого покроя.

Второй шкаф был отведен для домашних вещей остальной семьи — мамино пальто, Наташино, Галино пальто, а также и одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикасаемся нам к отцовскому шкафу, именуемому "гардероб", запрещаюсь.

Из прихожей прямо против входной была другая дверь без стекла, ведущая в проходную комнату, где спали три брата. В углу прихожей располагался уверенно и просторно дорожный багажный сундук, в каком плавали в заморское путешествие вещи семьи. Сундук был заклеен всевозможными путевыми заграничными клеймами, что — по тайной мысли отца — действовало "паблисити". А может быть и без всякого паблисити отцу просто нравилось, чтобы вещи напоминали ему о чем-то важном или любимом, о чем-то дорогом.

Поэтому этому сундуку всегда находилось достойное место. Сундук отвечал на внимание хозяев удобствами, и в нем на легчайших крестообразных прокладках помещалось множество вещей. В революцию были проданы вещи, а потом и сам сундук, увезенный в какую-то крестьянскую обитель, чтобы в свою очередь напоминать деревенскому хозяину о времени, о победе, успехе.

V

Глухая дверь с двумя створками — свет шел только из фрамуги — открывалась дверь в зало, или, по-домашнему — "зал".

Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущей внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.

На окнах висели легкие кружевные занавески — отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.

Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета — тоже в ящике черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея Естественной Истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.

Бывал он и в других музеях — в Берлине, в Гамбурге.

Принцип подлинности — вот что отличало наш черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой наверно не были одобрены моим отцом.

Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки — а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.

Индийские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов — маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...

Тут же лежала бутылка с кораблем внутри — известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец

наверно в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.

Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников — такие проверки отец считал необходимыми и приговор официальных работников такого рода был для него непрекаем, — каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественно-научную коллекцию.

Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для "светских" разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, ненавидящего пустые разговоры.

Эта коллекция должна была высечь искру из моего медного "лба", чтобы загорелся свет не столько божий, сколько Прометеев.

Лбы моих братьев наверно уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца, — а он считал себя великим педагогом, — при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.

Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в Музее Александра Третьего возмущала его.

На стенах не висело никаких портретов — ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых и живых.

Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.

В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывающая разговоры во всем городе — ее я приберег на конец.

Это висевшая в правом углу большая, даже огромная икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.

Отец и молился перед этой иконой и служил молебны, когда приезжали в праздники "славильщики" — это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имелась в Вологде — в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверно, немало.

Отцовская икона — была репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в золотую узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней — до самого конца жизни.

Бешенство, в которое приходила черная сотня Вологды при виде этого кощунства, — было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.

Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.

Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.

VI

Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники и кровати и стены в этой комнате были завешены охотничьим оружием и рыболовными

снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев — когда они собирались на охоту.

У каждого из братьев было свое ружье — двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.

У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно и что, конечно, вызывало одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности — я напишу отдельно.

Комната была в непрерывном движении — заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.

В этой же комнате слева от двери — сразу у стены стоял большой купеческий сундук "со звоном". Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье — сундук было удобно открывать и мать держала в нем всякие свои вещи.

А на крышке сундука на тюфячке спал я всю свою тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.

Тут я рос и вырос и научился раскладывать литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.

У меня были свои дела — школа, товарищи, чтение, игра в фантики.

Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на восемь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей пятнадцать — разница очень велика.

Потом, на моих глазах, охотничье оружие сменилось боевым — оба брата вернулись из армии — один офицером, другой солдатом. Оба привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия, винтовки, револьверы,

пулеметные ленты. После все это было сдано на военные склады — один брат демобилизовался, а второй, Сергей, продолжал служить до 1921 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же, Спорт и Орест, стали чуть старше, но выли и в упоении бросали лапы на плечи братьев.

А я все также спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.

Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей — в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шпечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула — легкое, твердое и сухое.

Письменный стол только в юности казался мне огромным — это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.

Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.

Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломаный — и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.

В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.

В праздник обеденный стол накрывался в комнате сестер.

VII

В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа — один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы — многополочный, многоящичный — кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка — царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки, пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и принимались только порошками. Тут же стояла склянка с иодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца — единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты — все это остатки от каких-то исключительных событий — отец не любил ни лечиться ни лечить. Он твердо держался курса Земляники — что "если умереть, то и так умрет; а если выздоровеет — то и так выздоровеет".

Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.

Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли и вся их девичья жизнь проходила вне дома.

Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца — средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева — книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.

Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая — не было видно, какие книги там лежат, а верхняя — под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.

Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки "Знания", переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.

Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких затертых служебных книг.

Далее на тех же полках стоял "Петербург" Белого, курс "Новая история", сборник "Вопросы идеализма". Книга Булгакова "Капитализм и земледелие", Флоренский "Столп и утверждение истины", несколько брошюр Маркса "Нищета философии", Толстой "Война и мир" в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы. Трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета — приложения к журналу "Семья и школа" или "Природа и люди" — и все.

Очевидно сокровища скрывались в нижней половине и мне еще только предстояло их разглядеть.

С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула — в квартире не было мягкой мебели, и переходил в следующую комнату, где спал я сам.

VIII

Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса Вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в неменьшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.

В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин — художник Сигорский сказал: "А я жил напротив Шаламовской горки".

Шаламовская горка — это Соборная гора, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.

Выросший на Алеутских островах — знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором

знаменитого в Вологде народного катанья — ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднявшихся в небо Вологды.

Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.

Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, — вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампочки, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору — любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.

Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катанья всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.

Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников — но гораздо раньше собирались на казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно — с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.

Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.

Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.

— Ну-ка подвинься, пацан, — весело сказал мне усаживающий свою даму на сани "тормозки", — как они назывались на ярком вологодском диалекте.

— Это не пацан, — холодно сказал мой провожатый, — это брат Сережки Шаламова.

Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.

Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загородили елками.

Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.

Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.

Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомеров, на снайперские дистанции еще без снайперских правил и марафона. Плавание в одиночку из устья реки до Вологодского моста — на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.

Брат — самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.

Мертвецов — в пьяном разумеется виде — в Вологде тонуло очень много. Всегда ездила вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано — три четверти успеха обеспечены.

Я сам так подошел к лодке, караулившей что-то в воде или на дне.

— Что это?

— Это мертвец.

— Ну что, чего ж его не тащут?

— Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.

И, действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.

Но самая главная слава брата в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму.

Начиная с ранней весны, с половодья, где в [разливе] брат убивал уток во время перелетов, эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье — это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной

лодке, с собственным ружьем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по нескольку дней.

В конце какого-то дня еще с берега начинался крик — "едут, едут, Сережка едет!" — и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.

Добыча тащилась к нам на двор и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками — только за лодку Сергей получал лишнюю часть. В его охотах никто не стрелял "на себя", а дележка всегда была у нашего крыльца.

Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов — все нравилось и отцу и матери чрезвычайно.

В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места.

[Полевая] охота — прогулки с сеттером по лесам и полям подгородним — мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.

Брат был столь же удачливым рыболовом — отцовские снасти — невод и сети — всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.

Кончалось лето — охота, рыбная ловля, плаванье — и начиналась ледяная гора.

В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.

Весь день с нашего двора шла стрельба — проверка кучности боя и прочих достоинств централок.

Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.

Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то "Ташкент — город хлебный" и привез мешок муки.

Сергей был любимым сыном матери и отца.

И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.

Матери — потому, что именно он был вполне реальной поддержкой семьи. Семейный авторитет был для него выше всего на свете за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время многочисленных охотничьих поездок привезти матери что-нибудь в хозяйство — что всегда было нужно и полезно.

Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой — коростой в общественных сражениях отца.

И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе — а эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.

В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение — исключение сына вызвано исключительно политикой — способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.

Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался — вырванный из жизни и природы и поставленный в унижительные школьные условия — непереносимые по дисциплине, по ненужности занятий.

Сергей был безусловно авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только уличными подвигами, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.

Сергея всю жизнь преследовала смерть.

Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом — звездчатый рубец прикрывал детскую травму.

В детстве, в состязании луков на Алеутских островах, товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая — там ведь не было больницы, несколько месяцев между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.

Весной город управляется ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьем. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавкам, канавам, канавицам в большие оттоки — протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе — она кончалась только с ледоходом.

Река Вологда — медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе — когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ледяным откосам сольется с потоком весенней воды, несущей разбитые льдины.

Ручьи, водотоки — все это работа нескольких дней в вологодской весне.

Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой — традиционное единство.

На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок — просто длинные доски прибиты, с врытыми в землю столбами. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.

В 1914г. с началом войны с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крюčkова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного

таланта наших генералов — захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.

Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные — и австрийцы, и чехи, и галичане — после Брусиловского прорыва. Но в начале войны — только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями — возгласы ликующих мальчишек не смущали их.

И вот в весну 1915 г. немецкие солдаты затеяли перекресток с той группой весенних гидрологов, которую возглавлял брат...

Немцы не знали русского, русские — немецкого, а на незнакомом языке любое оскорбление принимает неожиданно значительные формы. Возможно, что немец, ругавшийся с Сергеем, был тоже из молодых каких-нибудь дрезденских героев, который боялся отступить, показаться недостаточно храбрым в глазах своих же товарищей. Этот дрезденский немецкий герой, возможно, был похож на вологодского русского героя — моего брата.

Как уж можно оскорблять, не зная языка? Брат потом говорил, что напомнил о зверствах над Панасюком. Фотография Панасюка с отрезанным носом и ушами обходила тогда газеты. Рукой, что ли, Сергей показывал немцу историю с Панасюком.

Эта военная пантомима, завуалированный танец, громкий спор двух врагов с помощью рук — боевое сближение двух городских героев, привело к паузе, и хотя немец был взрослым солдатом, а Сергей — мальчишка семнадцати лет, Сергей, конечно, не побежал и не отступил. Говорят, что немец ударил брата кулаком, а Сергей ударил немца палкой, той самой палкой, которой проводил ручьи.

И тогда, немец вынул кинжал военный и ударил брата кинжалом, целясь в сердце. Сергей отклонился и кинжал

немца пропорол ему живот. Нож — страшное оружие для брюшных ранений — гораздо хуже пули, дроби.

Сергея увезли в больницу. Хирургом там был Мокровский — знаменитый хирург и энтузиаст, в совершенстве знавший свое дело, достойный наследник Пирогова.

Но в 1915 г. Александр Флеминг еще не изобрел пенициллин — до открытия оставалось еще поколение, и жизнь брата повисла на волоске.

Мокровский поступил по самым совершенным рецептам, которые, впрочем, мало отличались от рецептов Пирогова, — удалил пораженные кишки, сшил остальные. Сергею надлежало перебороть инфекцию самому.

На начавшийся перитонит Мокровский ответил новой операцией, новым удалением всего опасного. И после этой двойной операции Сергей выздоровел.

К этому времени относится странное детское воспоминание — раздраженный шепот отца, даже не шепот, а приглушенный голос. Будто я сплю, а где-то шуршит газета и отец гневно комментирует: Шэ! Жэ! Не могли напечатать полностью, что ли?

В памяти моей осталась газетная заметка строк на шестьдесят, где описывается этот случай так, как я только что рассказал. Но заметки такой в Вологодском листке сам я никогда не читал, — запомнил с чужих слов, что ли?

В 1968 году, перебирая Вологодский листок военных и революционных лет, пока газета не преобразилась в "Известия Вологодского Совета", я нашел странную заметку в марте или в апреле — не помню сейчас.

Что касается происшествия на Соборной горе с гимназистом Ш., то редакция обещает, по расследовании обстоятельств дела, опубликовать все, что интересует читателей.

Вот какие бывают чудеса памяти.

Ранение брата входило в область международного права и решения по этому делу никогда не были сообщены семье.

Впрочем, не прошло и двух лет, как Вологда и страна, и наша семья были потрясены событиями, оттеснившими ранение Сергея в самый глухой угол. Только я о нем помню. У брата ни невесты, ни жены, когда он умер. Только в зыбкой памяти моей хранится его рана и судьба.

Меня вместе с сестрой Наташей мама водила к Сергею уже тогда, когда он шел на выписку. Издали он мне показывал, отогнув рубашку, звездчатый коричневый рубец в правом углу живота.

— Попутно удалили аппендикс, — сказал Мокровский, стоявший тут же. Я тогда не понял, о чем тут идет речь, о каком аппендиксе, и только через много лет сообразил, что Мокровский был сторонником раннего удаления червеобразного отростка слепой кишки и проводил свою идею постоянно, не теряясь в самых неожиданных ситуациях.

Сергей вернулся домой, пошел добровольцем в армию в 1917 году простым солдатом — образование не давало ему права на офицерскую школу, как старшему брату, приехал в революцию домой, потом поступил в Красную армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году от разрыва гранаты.

У Сергея было много и других приключений из его охотничьей жизни, жизни рыбака. События эти скрывали от матери, да и до отца не доходили. Размытый половодьем охотничий шалаш, лесной пожар почти безвыходный, куст боярышника, отравленный ипритом. И еще я помню газеты восемнадцатого года о Бресте. Резкий голос отца:

— Подписали? Распутин за такой совет был убит.

Когда пришло известие о том, что Сергей убит взрывом гранаты, за телом ездил отец сам.

Сам он стоял около гроба в первой комнате, в зале. Оттуда были вынесены все красоты паблисити, и отец остался лицом к лицу со смертью своей главной надежды. В эпитрахили, измятой, перекосившейся, в ней отец сидел на стуле

около тела сына всю ночь. Оторванный нос брата, ухо дали надежду поверить, что это не брат, что погиб кто-то чужой, и когда отец вышел куда-то, я проскользнул в комнату и отогнул простыню для самой надежной проверки. Именно я открыл семье, что произошло, что тело — совсем не Сергея. Я воскресил семью, возвратил ее к жизни. Но звездчатый шрам в правом углу живота был на месте, грубая толстая кожа брата была мертвой, холодной, и я выскользнул из комнаты.

IX

Старший мой брат Валерий был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю своей.

Валерий окончил Вологодскую гимназию и мог и хотел получить высшее образование. Право на поступление без экзамена в университет у него было. Но Валерий не имел склонности к медицине, а отец не представлял иного высшего образования для мужчин из Шаламовского рода, исключая духовное, к которому у Валерия не было склонности.

Но ведь можно было кончить традиционный для вологжан Лесной. Выбор был достаточный. Однако отец заставил его в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу и, как только школа была окончена, — пойти на фронт, на передовую, в Действующую армию, как это тогда называлось.

Валерий заикнулся было, что хотел бы жениться и невеста уже есть, но отец наотрез отказал.

— После первой раны. Приедешь в отпуск и сыграем свадьбу. — Так и было. Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным пригубить.

Невесту Валерий показал отцу. Она понравилась обходительностью, бойкостью.

— Она умнее тебя, — сказал отец сыну.

Свадьба не была удачной, ибо измены начались чуть не со свадебного дня. Потом она как-то скоро умерла, уже в разводе с Валерием — от туберкулеза.

На фронте Валерий встретил революцию, приехал домой, и вот тут-то я был свидетелем одного важного разговора. Отец меня не стеснялся, мальчиком что ли считал, а может быть от Сергея привычка — учить детей извлекать поучительные уроки из самых разнообразных жизненных ситуаций — такой вариант возможен вполне.

— Я слышал, — сказал отец, — что ты хочешь демобилизоваться из Красной армии.

— Да, — сказал Валерий, — я так решил.

— Не советую тебе этого делать, — сказал отец. — Подумай хорошо. Ведь военное дело — это твоя специальность, твоя профессия. Так какого черта ты не идешь, которую уже выбрал и даже успел получить и образование и стаж? Ты не хочешь служить в Красной армии? Напрасно. Боишься разговоров о классовом враге? Пойми, что именно в армии будут наибольшие послабления. Разве не делает так Брусиллов, Бонч-Бруевич? Разве ты один? Все они служат России. В России сейчас советская власть. Вот и служи ей как военный специалист. Ни в коем случае именно сейчас не уходи.

Но желание родственников жены оказалось сильнее и Валерий демобилизовался.

Это было страшной ошибкой, исковеркавшей всю его жизнь, хотя отец, за исключением популярного примера из лучших людей России ничего, наверно, и не имел в виду в своих опасениях и предостережениях.

Но оказалось, что кроме высоких слов о долге русского гражданина — есть еще такая неприятная, но весьма реальная вещь, как ЧК.

Всю жизнь потом Валерия, до самой его смерти, вызывали в Чека, время от времени задавая один и тот же вопрос.

— Почему вы, царский офицер, уже служивший в Красной армии, демобилизовались в такой важный, в такой ответственный момент, час, как 1918 год. Почему вы оставили Красную армию?

Валерия сделали осведомителем, унижали, топтали, и подняться он уже не мог.

Валерий — сын, который публично отказался от отца-священника; в дальнейшем понадобились и такие демонстрации.

Я бывал у него во время моей учебы в университете; он работал в секретариате Наркомзема на какой-то канцелярской должности и ретиво принимал участие в выпуске наркомземовской стенгазеты — прошлое и душа художника, которые он еще не забыл при выпиливании рамок по чужой канве, умение растворять краски, хотя бы клеевые. Валерий был главным оформителем праздничной стенгазеты Наркомзема, и очень гордился пользой, которую он, как художник, не перестает приносить.

Я встретился с ним на похоронах отца неожиданно, потому что он никогда не помогал отцу и матери — ничего кроме проклятий по их адресу не слышал я из его уст — и вдруг встреча на отцовском гробе.

Уезжали мы не вместе — он попозже, я пораньше. И когда пошли прогуляться, выяснилось, что он чего-то ждет.

— Да, Валерий, вот возьми отцовскую цепочку и игрушку — моржового слоненка. Я их приготовила в столе.

Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость, и которая лучше всех знала материальные возможности мамы и отца, бросилась на Валерия тут же.

— Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год.

Но мама сказала ясно и твердо:

— Он ничего не просил и не просит, это я так хочу.

Валерий умер в тот самый день и час, 12 ноября 1953 года, когда иркутский поезд дальнего следования подошел к московскому перрону и я вылез из вагона после шестнадцатилетнего отсутствия.

Х

Сестра Наташа была старше меня на семь лет. Значит в 1917 году ей было 17 лет, а в 1918 — восемнадцать.

Эти два рубежа — возрастной и исторический, тесным образом переплелись в жизни моей сестры.

Семнадцатый год Наташа встретила в белом платье, с сияющим лицом. Представители городской Думы поздравляли Наташу с окончанием женской гимназии.

— Он сказал нам — товарищи! — без конца повторяла Наташа, кружась по комнате, целуя отца и мать, тиская меня.

Все горизонты мира распахивались перед Наташей, и она настроена была использовать все возможности — образования, путешествий, свободы.

А в 1918 году перед семьей стоял суровый человек, переживший вместе с семьей тягчайший удар — и моральный и материальный.

Никакой возможности куда-то ехать внезапно не стало, и на Наташу самым тяжелым образом упала ответственность за семью. Наташа сразу как-то поняла, что не время трепать языком, а надо искать какую-то реальную опору для своей жизни, чтобы реально помочь семье и себе.

Наташа сейчас же поступила в сестринский техникум двухлетний, с военного времени существующий в Вологде, и как было ни ничтожно это образование — это давало возможность помочь семье.

Брат Валерий, женившийся в 1915 году, оставил дом. Его же путем пошла сестра. Сергей был в армии, я — в школе.

Путем исключения легко догадаться, что вся ответственность и материальная тяжесть легли именно на хрупкие плечи Наташи. Ее работа дала ей хлебные карточки, возможность сохранить квартиру от дальнейших уплотнений — сколько ни мала была эта помощь, сколько ни жалким был общественный вес — все же в ней было единственное спасение.

Именно Наташа сохранила семью целый ряд лет гражданской войны.

Именно она бегала на приемы ко всем представителям новых городских организаций, доказывая, протестуя и добиваясь.

Потом Наташа вышла замуж за одного профсоюзника, работала, уехала из дому, родила сына — воспитала сына и дочь от первого мужа, и уехала из Вологды в Нижний Новгород, где ее муж работал на выборной должности, а потом в Москву, где он устроился в какой-то наркомат, получила квартиру в Москве на Потаповском, работала медсестрой в поликлинике ВЦСПС.

Наташа была олицетворением справедливости на наших семейных совещаниях, превосходя в этом отношении даже мать. Наташа смело бросалась во всякие домашние сраженья, обличая неправоту, фальшь и ложь.

Наташа безоговорочно поддержала меня в отказе от духовной карьеры, одобрила все решения, связанные с моим отъездом из города.

Совещание это происходило на печке в кухне, на лежанке русской печи, где лежали Наташа и я, а снизу отец и мать задавали мне последние вопросы о моем будущем.

— Я могу дать тебе письмо для Духовной академии, к Введенскому.

— Я не хочу учиться в Духовной академии.

— Тогда — на свободу. Будешь искать свое место в жизни сам.

— Пусть так.

Мать, которой очень хотелось видеть меня именно в Духовной академии, грустно молчала.

Но я выбрал другую дорогу, и все охотничье оружие, все славное наследство братьев было продано до последней рыболовной снасти, до последней гильзы — и я уехал в Москву.

Вот в этом-то совещании Наташа и одобрила именно это мое решение.

Потом Наташа вышла замуж и ей пришлось выдержать большую борьбу не за свою семью, а за нашу — ибо начался очередной жилищный штурм — выселение с милицией. Наташе почему-то везло именно на выселения.

Второй ее муж, профсоюзный работник, получил комнату в квартире барачного типа в Потаповском, верх мечтаний тогдашней Наташи, воспитавшей там двухлетнего сына, семилетнюю дочь мужа от первого брака.

Еще в Нижнем Новгороде выяснилось, что муж Наташи, профсоюзный работник — запойный пьяница. Запои — это страшная русская болезнь. Человек пропивает абсолютно все, до старого чужого белья, все, что видит и может схватить, унесет в кабак.

Трезвый, организатор общества трезвости, отец едва ли был поражен родством с алкоголиком.

Муж Наташи был парень хороший, как все запойные алкоголики, доброжелательный. Наташа выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить.

Таких честных слов в истории русского общества, в семейных архивах хранится не миллионы, а миллиарды.

Наташе хотелось верить и в себя и в него, и вместо того, чтобы бежать от него, как от чумы, она вышла за него замуж. Слова он не сдержал, да и не мог сдержать — нет таких примеров в истории, и Наташа шагнула обеими ногами в разряд мучениц.

Когда муж стал не только пропивать все свое, но и чужое, и детское, Наташа с ним развелась, поступила снова на

работу медсестрой в поликлинику своего наркомтруда, а потом ВЦСПС, когда жилищный фонд был передан профсоюзам. Это было в 1934 году. Я был в Москве.

Объявили ремонт-ликвидацию всех перегородок, а после ремонта весь этаж должен был превратиться в одну квартиру, не то для секретаря ВЦСПС, не то какого-то министра, или наркома — как их тогда называли.

Все было сделано абсолютно по закону — всем живущим в доме, имевшим отдельные комнаты, дали отдельные же комнаты, а то и квартиры — даже отдельные дачи. Беда была только в том, что эти дачи, ордера на которые выдал жильцам райжилотдел, были в Перове. История эта — обычная для тридцатых годов — когда министр топтал подчиненных и все подчинялись и освобождали помещения.

А Наташа не поехала, обжаловала решение, но инстанция за инстанцией проигрывала дело.

По этому делу Наташиного выселения я ходил на прием к прокурору города Москвы, к Филиппову, и получал от него отказы. Был назначен срок, подана машина, и милиционер с представителями ВЦСПС стали выносить в коридор немудреные Наташины пожитки.

Вот как раз в это самое время, по этому самому Наташиному жилищному делу я обратился к Сосновскому, известному фельетонисту "Известий". Сосновский вернулся после ссылки и работал в "Известиях". Попасть к нему было очень легко.

Сосновский спокойно выслушал все обстоятельства дела — я не давал себе увлечься никакими аналогиями, и тут же позвонил прокурору Филиппову, посадив меня около стола.

В трубке был хорошо слышен голос Филиппова, догадываться мне было не надо. Я записал этот разговор тотчас же по возвращении домой.

— Товарищ Филиппов, это Сосновский говорит.

— Здравствуйте, товарищ Сосновский, чем могу служить?

— Вот у меня сидит человек по делу об одном выселении медицинской сестры Шаламовой.

— Товарищ Сосновский, — заговорил прокурор, — я хорошо знаю лично это дело, и брат этой медсестры был у меня еще вчера. Тут все сделано по закону, все совершенно правильно.

— У меня складывается другое впечатление, — холодно сказал Сосновский. — Но дело не в этом. Я попрошу вас лично, городского прокурора остановить это выселение своей властью. Пошлите милиционера от себя — там уже выносят вещи. Потом мы увидим, кто тут прав, но выселение надо остановить.

— Хорошо, товарищ Сосновский, я сейчас же пошлю милиционера, — сказал городской прокурор.

— И позвоните мне завтра.

Я пожал руку, поблагодарил Сосновского.

Вот мой единственный разговор с Сосновским по личному делу...

Все дело в том, что сзади этого вопроса стояло очень сложное, болезненно пережитое Москвой дело Зорича, фельетониста "Правды", пострадавшего в сходных обстоятельствах несколько лет назад.

Дело Зорича было одной из самых первых административных расправ сталинской эпохи, расправ принципиальных, означавших какой-то важный поворот в принципах партии и страны.

В чем было дело? Жены видных партийных работников старались в большинстве вести себя вроде Аллилуевой, Крупской, Цюрупы, не только не давая повода для злословия, но крайне болезненно к репутации чисто личного плана.

И Бухарин, и Сталин, и Рыков — также жили очень скромно. Еще скромнее жили их жены.

Исключение составляла только жена Кирова, которая еще в Баку прославилась захватом буржуазных квартир для родных своего мужа. Притчей во языцех была эта дама. Подвиги ее говорили, что у Кирова не хватает времени, чтобы одернуть эту ретивую жену.

В 1926 году Киров получил назначение в Ленинград на борьбу с оппозицией и выехал громить троцкистов. А жена осталась в Баку — и когда она позднее прибыла к мужу — замучила всю железную дорогу. Она ехала в двух вагонах — она в одном, в другом — кировские собаки. Управление дороги было приведено в трепет ее телеграммой в Ленинград Кирову для ускорения движения ее спецпоезда в северную столицу.

По прибытии в Ленинград дама эта бросилась выбирать и отбирать уже квартиры побогаче, чтобы дать наконец отдых мужу, мучающемуся в Астории, не имевшему угла отдохнуть.

Перебрав несколько квартир, переехав из одной в другую за неделю, жена Кирова не оставила вмешательства во всевозможные дела.

Вот об этом страшном путешествии по железной дороге Баку-Москва этой энергичной дамы и был написан Зоричем фельетон. Ясно, что документов в таком деле у фельетониста было более чем достаточно.

Зорич работал тогда фельетонистом в "Правде" наравне с Кольцовым. Фельетон был напечатан в 1927 году под названием "Дама с собачкой".

Зорич ждал, как поставят Кирова на место, укажут, чего можно и чего нельзя руководителю советской и партийной [власти].

Всего год назад на пристани Энгельс-Саратов председатель Совнаркома республики немцев Поволжья (Курс) ударил кулаком в лицо комсомольца, не пустившего Курса в пьяном виде на пароход.

Курс не успел еще проспаться после пьянки, как был снят со своих постов, и вынырнул много лет спустя директором московского отделения Интуриста.

Именно таких результатов и ждал Зорич от "Дамы с собачкой".

Результат разбора "Дамы с собачкой" в ЦКК принес неожиданный результат:

1. Зорича исключили из партии.
2. Запретили работать в печати пожизненно.
3. Уволили из редакции "Правды".

Все материалы данного решения сделали широко известными всей партии снизу доверху.

Киров, энергично поддерживающий Сталина, среагировал самым принципиальным образом.

Партийные решения не должны касаться ошибки, касаться неверной информации.

Факт, по мнению Кирова, с опубликованием "Дамы с собачкой" (хотя там не было опубликовано ни фамилии, ни названия дороги) есть только один.

Журналист замахнулся на члена Политбюро, первого секретаря обкома — ничего другого Киров и знать не хочет и ставит вопрос о принципиальном примерном наказании фельетониста. Вопросы правды-неправды тут вовсе и не могут вставать.

Решение по делу Зорича и много лет номенклатурной работы были ограждены от критики, тем более в печати.

Так и было сделано. Зорич до самой смерти не имел возможности писать в "Правде" — перешел на очерки, на рассказы. Смерть не очень задержалась. Зорича расстреляли в 1938 году как троцкиста, хотя он ни к какой оппозиции никогда отношения не имел.

Сосновский, который знал про это дело (еще бы!), смело вступил на путь защиты маленьких людей. Сосновский был расстрелян в том же 1938 году, но это я так, к слову.

Дело о выселении кончилось победой министра над медсестрой. Наташа выехала в Перово.

У Наташи мне было хорошо бывать, можно было поесть и подумать над своим без ущерба для чувства гостеприимства. Можно было встать и уйти, ничего не объясняя и ничего не обещая.

Последний раз я видел Наташу в Перово над стиркой, в мыльном пару, выжимающей с усилием не то скатерть, не то простыню.

Гороскоп такой природы не труден.

Как легко может догадаться внимательный читатель, Наташа умерла тридцати семи лет от туберкулеза в Кратовском тубсанатории. А ее запойный алкоголик-муж, уморив трех жен, одной из которых была Наташа, умер персональным пенсионером в возрасте 84 лет от инсульта.

XI

Я никогда не видел маму красивой, хотя и прожил с родителями целых семнадцать лет. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни — до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями.

В деревнях приходилось мне встречать единственный способ облегчения женщинам кухонного дела — варить щи, а мясо в горячем вареном виде резать. Так я видел в рабочих артелях, например.

Но в нашей семье делали и вторые блюда — жаркое какое-нибудь, котлеты, рыба, дичь или свинину своего убоя.

И третье — гороховые, овсяные кисели. Каша обязательно гречневая, рассыпчатая — по вкусу отца.

Мама печь хлеб и варить суп не умела, но семейная жизнь на Алеутских островах выучила ее и печь хлеб и стряпать.

Какие тут потрачены нравственные силы, нервы — я боюсь и сейчас думать.

Даже хлеб выпекался у нас ежедневно, той же маминой рукой, — значит должна быть всегда опара. Ежедневно свой свежий хлеб — это отец считал элементарным, обязательным.

В магазинах города хлеб продавался и дешевле и вкуснее, но нами покупной хлеб приобретался только в большие праздники. И мы отдавали ему честь среди бесчисленных домашних пирогов, которые умеют и любят печь в Вологде, — Вологда славится пирогами.

Но мама не любила печь, мама любила стихи, но не рецепты поэтической кухни довелось ей выполнять, а самые важные — из поваренной книги. Поваренных книг у нас было две. Популярная Молоховец, засаленная, затертая, оправдавшая себя на двести процентов, и переплетенная в изящный фиолетовый переплет особая книга вегетарианской кухни под названием "Я ничего не ем".

Но отец не был вегетарианцем. Напротив, он считал вегетарианство фокусничеством, извращением — его языческая сущность, его охотническое прошлое, его ясное понимание законов природы — где существуют и охотники и волк, и коза и капуста, и только с гармонией взаимного убийства развивается видимый мир.

Пошлые советы (Брелио) или Репина вызывали у отца только смех. У нас никогда не готовили вегетарианского. Вопрос этот никогда даже не обсуждался в семье. Зачем же отец приобрел сборник вегетарианских рецептов? Я думаю, из того же паблисити сделал он этот подарок матери. Стараясь показать, между прочим, что вегетарианская пища сложнее, дороже — и чтоб был какой-нибудь справочник под руками.

Слева от входа была дверь в "зал", а справа — дверь на кухню, в мамино царство.

Там стояли лари с мукой, бочки соленья, варенья, квашенья, висели нитки грибов, "батманы" лука, связка лука на вологодском языке называется батман, — весом батман может быть до десяти килограммов.

Посреди кухни был вырублен подвал, который был забит обязательно каким-то особенным, по рецепту отца — синим льдом с реки. Дверь в просторный подвал, лестница вниз шла посреди кухни. Подвал был набит битой птицей покупной и дичью, стреляной сыновними руками, тушами баранов, колотых кабанов, выкормленных матерью.

Кабаны визжали на дворе, бляели козы, — несколько коз. Отец, по каким-то своим экономическим подсчетам, еще без помощи электронных машин, вычислил, что три козы по удою заменяют корову, а козье молоко — козьим молоком отец увлекался всегда, до самой смерти.

Ловя детей, две охотничьи собаки плясали среди этого звериного царства.

Кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца.

Несколько полениц березовых дров, купленных на базаре, — сухих, уже черных березовых поленьев. Полено и косарь щепать лучину на самовар.

Древесный уголь на растопку и огромная русская печь, где с ухватом тяжелыми чугунами круглые сутки ворочалась мама моя.

И все это я ненавидел с самого раннего детства, как помню себя.

Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками — игрушечной азбукой — в ногах моей матери.

Я был педагогическим маминым экспериментом, единственным опытом, который провела мать для себя и по своему собственному соображению.

Козы у нас были и в довоенное время, и в разруху, и в гражданскую войну, словом — всегда.

Кудахтали куры — отец был куровод, менял породы. По десятку-два кур яйценосных, вроде итальянских леггорнов, держались у нас всегда.

За грибами, за ягодами в нужное время плыла вся семья на двух лодках — две лодки отец имел постоянно, с миллионном корзин, и мама делила грибницы или ягодную удачу.

Варенье вот варить только мама никогда не выучилась — все то жидко, то перестойт или изойдет пеной, и для варки варенья приглашались посторонние лица, умевшие обуздать медный сверкающий таз.

Стоя на крыльце, мама встречала целые лодки рыбы, которые привозил брат Сергей, целые лодки уток, застреленных братом во время его охотничьих поездок делила мама.

Хлюпали в лужах домашние утки и гусаки гоготали.

И все это я ненавидел.

Мама печь хлеб не умела и не любила кухни. Мама любила стихи, а не ухваты.

Мама моя была тяжелая сердечная больная, ковылявшая по комнате, где жила она с отцом, из квартиры их давно выкинули, выселили, — держась за стенки, за мебель — от кухонной печки до семейной кровати под образами.

Передвигаясь на огромных опухших ногах, мама что-то варила, что-то стирала, что-то мыла, а отец сидел в кресле в углу у окна, полузакрыв глаза. Отец ослеп после смерти сына, моего брата Сергея, и прожил слепым четырнадцать лет. Вот эти четырнадцать лет мама кормила и себя, и отца.

Откуда мама брала деньги на жизнь — я не знаю. Конечно, помогала сестра Наташа, окончившая фельдшерскую

сестринскую школу в Вологде и работавшая сестрой в больнице, вместо того, чтобы слушать лекции на каких-нибудь Бестужевских курсах.

Но Наташа вышла замуж и уехала из Вологды — в Нижний и Москву — по месту работы мужа. Кое-что посылала, наверно.

Вторая сестра Галя, уехавшая со вторым мужем в Сухум, не посылала ничего, кроме ежегодной посылки винограду, от которой до Вологды доходила одна гниль. Но мама воспретила что-нибудь писать Гале по поводу ее винограда.

Старший мой брат Валерий не посылал никогда ни одной копейки, в газетах отказался от отца и всечасно подчеркивал свое отчуждение.

Поразительным было появление брата на похоронах отца в 1935 году.

Валерий выпросил у мамы золотую цепочку отца "на память" — у меня не хватило духу вмешаться в этот разговор.

Так чем же жила мама эти четырнадцать лет? Ведь надо есть двоим четыре или — по крайней мере — три раза в день. Какие тут рецепты? Это одна из тайн, которую я никогда не узнаю.

Конечно, и я после женитьбы, а Наташа еще раньше, предлагали переехать в Москву. Но и мать и отец категорически отказывались, и были правы, конечно.

Когда мать осталась одна — то есть в 1934 году, я еще раз предложил ей переехать в Москву.

Мама смеялась :

— Как я уеду из города, где я прожила всю жизнь вместе с отцом.

— Я умру скоро, — сказала мама.

— Есть примета. Если живут дружно столько лет...

— Да, — сказал я.

— Так вот, — мы не жили дружно. Мы жили трудно.

Дело не в последних четырнадцати годах, когда он был слепой, — это все другое, более ясное и простое. Трудно было раньше.

— Ах, как мне хотелось, чтобы ты женился в Вологде. Тебе я могла рассказать.

Я слушал, затаив дыхание.

Но больше ничего мама не сказала.

У мамы было собственное, эсхатологическое, в высшей степени своеобразное учение о конце мира.

Успехи науки, особенно химии вдохновляли маму на соображения о Страшном суде и воскресении мертвых. Постепенно люди превратятся в тончайших духов, существ почти бестелесных. К воскресению мертвых все люди превратятся в духов и одновременно воскреснут и не будет на земле тесно.

Я слушал все это с величайшей внимательностью, просто с жалостью и болью.

Отец мой — человек светский, то есть гражданский, мирской до мозга костей.

Все что ни могло служить успеху, то и одобрялось.

Но потом, взрослым, уже сидя в тюрьме, я изменил это детское мнение.

Не то что изменил, а из большой тени, что отбрасывала фигура отца на прошлое, выползала вдруг на самый яркий свет опухшая грубая фигура моей матери, судьба которой была растоптана отцом.

С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах, не считался — все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке.

Но — при его жажде успеха — зачем он стал священником, зачем взял на себя самое несправедливое право — право давать советы другим?

Трудно? Почему же? Почему же трудно?

Отец мой был человек абсолютно мирской, никаких потусторонних интересов не было у него в Вологде. Конечно, я — пятый ребенок в семье, да трое родились мертвыми — мама испытала обычную русскую женскую судьбу. Мама посвятила всю себя интересам отца... Мама — способная, талантливая, энергичная, красивая, превосходящая отца именно своими духовными качествами. Мама прожила жизнь мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта.

У отца были свои капризы — обязательный обед в положенное время, где он сидит во главе стола и рассуждает о высшей материи, о народе, о России, пока кухарка-мама подает блюда, угощая собственными шаньгами. Мама ненавидела всякое собственноручное печенье и варенье. Именно этого требовал отец, мучая маму долгой мукой — ведь надо на семью.

Четырнадцать последних лет ее жизнь с отцом — когда он был слепым, я вовсе снимаю с весов судьбы. Там был долг, радостный или нерадостный, все равно, но долг — простой человеческий долг, но тридцать лет раньше должны быть взвешены иначе.

Этого я долго не понимал. Мне все представлялось, что именно отец, блестящий диалектик, умелый оратор светского толка, популярный городской священник, принял на себя столь жестокий удар судьбы, как слепота! Отец — герой.

Я могу понять какого-нибудь аскета, пророка, внимающего голосу Господа в пустыне. Но обращаться к Богу за мирскими советами и испрашивать советов Бога для других, чтобы передать благодать — это было мне чуждо и не вызывало ни уважения, ни желания подражать.

Несколько случаев из очень раннего детства я помню хорошо — так, как это было вчера. Отец даже не мог подумать, что мне наносится какая-то травма душевная. — Чрезмерной душевной тонкости был чужд отец.

Отец служил городским священником в Соборе, в том самом соборе, который показывают сейчас туристам, и казенный дом, где была наша квартира, — еще стоит на земле, и вместе с архиерейским "комплексом" вошел под охрану государства.

Маму, в течение всей ее жизни, особенно при ее полной инвалидности, беспомощности физической, со слепым мужем на руках, очень мучили евангельские лукавые рабы — обещал и не сделал! — черта весьма распространенная не только в русской натуре. В моем кулинароведении эта черта называется хитрожопостью.

Сочувствие, не подтвержденное делом, — худший вид фальши.

XII

Отец мой, родом из самой темной лесной устьсыольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода незаметно и естественно сменивших бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души, был человеком чрезвычайно способным.

Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством.

И того и другого в избытке хватало в характере отца.

Успеху своему на выбранном пути отец был обязан самому себе, а путь был выбран еще в юности.

Отец родился в 1868 году близ Устьсыольска и учился в Вологодской семинарии, идя по традиционной для рода дороге. Отец проявил блестящие способности и, проработав года полтора учителем среди коми-зырян, женился и принял священнический сан. В Духовную академию — куда отцу

была открыта дорога, отец не пошел, а сразу, с молодых лет пошел на заграничную службу — поехал в Америку, на Алеутские острова православным миссионером среди алеутов и проработал там двенадцать лет.

Заграничная служба в православной Церкви давала большую пенсию, достаточную для того, чтобы безбедно кормить большую семью. Эта пенсия давалась за двадцать лет службы. Но можно было уволиться, вернуться и после десяти лет службы — тогда пенсия была половинной, платилась пожизненно и сохранялась при всех условиях — продолжал ли пенсионер церковную службу или нет.

Отец вернулся в 1905 году, привлеченный революционными ветрами первой революции — свободой печати, веротерпимостью, свободой слова, надеясь принять и личное участие в русских делах.

К этому времени заграничная служба отца достигла двенадцати лет, и отец воспользовался правом на половинную пенсию.

Отец не поехал в столицу, а вернулся в тот город, где он учился в семинарии и где женился. А мать моя — не из духовного звания, как это бывает по традиции, не из епархиального училища, а из самой нормальной светской Марининской женской гимназии — той самой, которая расположена в доме Батюшкова, где мемориальная доска.

Мать — учительница, из чиновничьей семьи, ее сестра пыталась поступить на Бестужевские курсы и получила медицинское образование, работала всю жизнь фельдшером в Кунцеве.

Замужество матери тоже было встречено с удивлением в либеральной чиновничьей семье, где нет людей из поповского рода, но мать выбрала отца, вместе с ним уехала в Америку и разделила его судьбу и его интересы в его многочисленных общественных начинаниях.

Мать — коренная вологжанка, и выбор службы отца в Вологде связан с корнями матери. У отца никаких родных

нет, или, если и были, связи с ними разорваны из-за заграничного жития, и в доме у нас никто из родственников отца — если они и были — никогда не бывал.

Отец получил службу четвертым священником городского собора. Для церковных властей это было хорошим решением — молодой проповедник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор — кандидатура отца у Синода не вызвала, конечно, возражений. А что он стригся покороче, носил рясы покороче, чем другие, крестился не столь истово, как остальные — все это не пугало Синод.

Место городского священника было почетным местом — движением ввысь по служебной лестнице духовенства.

Служба в городском соборе — как ни тесна была наша крошечная квартира на Соборной горе, устраивала отца еще по одной немаловажной причине.

Соборный священник получает жалованье или подобие жалованья вполне официально и избавлен от унижительного "славления", собирания "руки", подачек в рождественские, пасхальные праздники. А ведь из этих подарков-подачек и складываются главные заработки приходского священника — все равно в деревне или в городе.

Отец не любил этих унижительных молебнов "на дому" с закуской и выпивкой — от закуски можно было бы еще отбиться, от денег — никогда.

Соборный же священник избавлен от этих поездок.

Даже после собора, когда отец нашел службу у ссыльной миллионерши-анархистки, баронессы Дес-Фантейнес — там тоже он получал оговоренное жалование, а не жил на "поборы".

Однако, первая же проповедь отца вызвала усиленное внимание духовной цензуры.

Вологда — город черной сотни, где бывали еврейские погромы.

Отец самым резким образом выступал в соборе против погромов, а когда в Петербурге был убит депутат Думы Герценштейн, отец отслужил публичную панихиду по Герценштейну.

Эта панихида отражена в истории русского революционного движения — не один отец поступил таким же образом.

Отец был отстранен от службы в соборе и направлен в какую-то другую церковь, кажется Александра Невского. Отец обжаловал решение местных церковных властей, и с этого времени начинается длительная, активная борьба с архиереями, которые, на грех, приезжали один черносотеннее другого.

Естественно, что поведенное сразу его отбросило в лагерь вологодских ссыльных. Ссыльные, которых в Вологде было много, — стали друзьями. Это — Лопатин, меньшевик Виноградов, активные сионисты вроде Митловского, значительный слой тогдашних эсеров.

Отец, чрезвычайно активный общественник, непрерывно открывал то общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал в митингах, которых было тогда очень много.

Центром приложения сил, прогрессивных и черносотенных, была в Вологде ряд лет постройка по подписке Народного дома. Этот Народный дом, выстроенный на месте теперешнего городского театра (б. "Дом Революции"), был выстроен, и отец на митингах в нем выступал несколько раз.

Этот Народный дом был сожжен до тла осенней ночью черносотенцами, виновники не найдены. Здание отстроено лишь после революции, хотя поднимались стены и раньше, до первой войны, и восстановление было прервано именно войной.

Дом Революции был открыт (в 1924 году) киносеансом Гриффитса "Нетерпимость". Тогда в Вологде существовал городской театр, деревянный, который не перенес поджогов,

ибо не был "Народным домом", а обычным театральным зданием. Театр старой архитектуры сгорел все же — и никогда не был восстановлен.

Дом Революции, построенный вместо Народного дома 1905 года, стал называться Городским театром.

Но в мое время был и театр, и Дом Революции.

У отца, чрезвычайно активного общественного деятеля, была и своя собственная социологическая теория, основанная на глубоких выводах, солидных основаниях, надежных перспективах.

Отец уверял, что будущее России в руках русского священства и именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновленчества, и государственных форм, и личного быта.

Для этого, по мысли отца, есть все основания. Священство — сословие не малочисленное. Простой цифровой подсчет убеждал в серьезности этой проблемы. Составляя такую общественную группу, духовенство еще не сыграло той роли, которая ему предназначалась судьбой — дав им право исповедовать и отпускать грехи у всех людей от Петербурга до глухой зырянской деревушки, от нищего до царя.

Никакое другое сословие не поставлено в столь благоприятные условия.

Эта близость к народу, знание его интересов, начисто снимает для разночинцев проблему интеллигенция — народ, ибо интеллигенты духовного сословия — сами народ — и никаких тайн психологии народ для них не приносит.

Это не разночинство отрицания типа Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Кибальчича, Гапона, а разночинство созидания типа Ключевского, Пирогова, Павлова, Булгакова, Флоренского, Григория Петрова.

Это должно быть священство мирское, светское — живущее вместе с народом, а не увлеченные ложным подвигом

аскеты вроде старчества, монастырей. Монастыри — это ложный путь, такой, как и распутинские прыжки.

Церковь должна быть светской, мирской, жить мирскими интересами, а в самой мирской жизни быть началом разума, культуры, образования, цивилизации.

История хранит бесконечное количество подвижников, пророков из духовного сословия.

Но задачи XX века более сложны, более земны.

Русское священство должно обратить внимание не на личное совершенствование, а на личное спасение общественных завоеваний выборным путем, государственные должности и поворачивать дело в надлежащем направлении. Не в старообрядчестве и не в сектантстве нужно искать, а в самом современном церковном служении.

Даже такой вопрос, как распад семьи — профессиональная болезнь русской интеллигенции, — может быть решительным образом ослаблен, и не только примером многочисленных семей духовенства. Но эта проблема, по мысли отца, разрешится сама собой.

Что плохо — не безбожие, а малая культурность народа. Безбожие исчезнет вместе с грамотностью.

История русской культуры должна гордиться своим духовным сословием.

Славные имена выходцев из духовного сословия — знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей — известны всей России. Они не должны терять связи со своим сословием, а сословие обогащается их идеями.

Русское священство, белое духовенство — вот кому принадлежит главная роль в воспитании общества.

Не аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная форма грамотного культурного русского священства.

Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима.

А женатое, семейное священство — вот истинные вожди русского народа. Духовенство — это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать ниву культурной — сопряженными земные задачи совершенно земных людей.

Отец не любил Гапона, хотя именно Гапон, священник, встал во главе разрушительных сил, сокрушивших империю.

Нет места монашеству, только белое женатое духовенство в формах традиционного правительства поведет Россию к обновлению.

Среди русской революционной интеллигенции священство должно занять подобающее ему место.

Себя отец не считал человеком, посвятившим себя высокой цели освобождения России.

Когда отец вернулся в Россию — в 1905 году — ему было 37 лет. У него было четверо детей — два сына и две дочери, да двое умерших в грудном возрасте. Я в это время еще не родился.

Получив известие о каком-нибудь открытии, изобретении и слыша впервые фамилию автора, отец всегда спрашивал, резко позвякивая ложечкой в своем чайном стакане :

— Он, конечно, из духовного сословия?

В духовенстве отец видел единственную реальную силу, которая не разбудит народ — народ давно разбужен, а решит все русские проблемы.

Тот джефферсоновский дух свободомыслия, который царил в нашей семье, не противоречил убеждениям отца в призвании русского духовенства.

На себя он смотрел, как на человека, который пришел не столько служить Богу, сколько вести сражение за лучшее будущее России.

Умение хорошо одеваться отец не без основания считал важным и надежным средством "паблисити". Зимой он

ходил в дорогой бобровой шапке, в хорьковой шубе с широким воротником морского бобра, в шелковой щегольской рясе. Все это было сшито в столицах у модных портных — по чуть укороченному, далеко видному, но все же не нарушающему канон фасону.

Серая шляпа, вроде котелка, самого дорогого качества, уверенно сидела на уверенно поставленной, коротко постриженной голове.

Мать обычно ножницами доводила отцовскую прическу до желательных ему кондиций.

Щелкали ножницы в руках матери, раздавался резкий голос отца: "Короче! Еще короче!" — Потом начиналось оглядывание прически в зеркало.

Камилавки — служебный церковный головной убор отца — всегда были высшего качества и всегда свои. В церкви для службы даются и казенные камилавки — но камилавки с другого человека, со следами чьей-то чужой головы внутри — этого бы отец не перенес.

Обувь — щегольские полусапожки с резинкой, тщательно начищенные. Дома отец переодевался в домашнее, но тоже добротное, удобное, хотя и недорогое. Был у отца и штатский костюм весьма невыразительного свойства. Поскольку для "паблисити" священнику костюм не был пригоден в те времена — брюки в полоску, сапоги, плащ брезентовый для дождя.

На всех церковных службах отец выглядел самым красивым, самым картинным, во всяком случае, чем мать немало гордилась.

Скромность отец не считал достоинством. В программу "паблисити", которую отец перенес как педагогический прием в воспитание своих детей — дочерей и сыновей, — входило всегда публичное утверждение достоинства, преимуществ — всяческих соревнований, начиная от состязания умов — вроде диспута — и кончая гонкой лодок, плаваньем, стрельбой, охотничьей удачей.

— Надо взять себе за правило — не скрывать своих преимуществ перед сверстниками, — учил отец, — знаешь вопрос — смело поднять руку на вопрос учителя и смело отвечать, только надо знать, а не молоть пустяки. В состязаниях юности всякий ложный стыд вреден, а смирение паче гордости — чушь!

Скрывать свое уменье, свое превосходство отец не имел привычки.

У нас было две лодки, и лодки эти выбирал отец всегда сам — ездил куда-то в верховья Сухоны в надежные места и на барже или пароходе привозил, таща лодку в свое собственное хозяйство. Но лодки северные — это долбленые челночки. Для того, чтобы превратиться в рыболовную, в охотничью лодку, челнок должен обрасти бортами. Это немалое уменье, и не всякий столяр успешно нарастит в нужном весе, размере, борта. Этой работой отец занимался всегда сам, выполняя ее в высшей степени эффективно и уверенно.

Столярный верстак ставился поперек двора, отец взмахивал рубанком, и сотворение лодки начиналось. Собирались зеваки, а также жаждущие инструктажа, и отец под взмах рубанка, срезающего легкие осиновые стружки, читал соответствующую лекцию о новом способе наращивания бортов, которому он выучился или в юности в Устьсы-сольске, или почерпнул у алеутов на острове Кадьяк — либо вычитал из книжки и сейчас хочет попробовать.

Я думаю, эти спектакли имели многие значения, как всякое действие отца всегда многозначное, всегда с подтекстом.

Помимо прямого "паблисити", поп с рубанком был еще удовлетворен жадной физической движеньем — чисто спортивная форма отца. Давал примеры сыновьям, учил друзей техническим приемам стружки. Просто отводил душу в любезных сердцу разговорах. Что еще?

С детства меня раздражало совмещение приятного с полезным, а для отца это было испытанным педагогическим приемом, даже принципом.

За чайным столом мы всегда видели отца аккуратно одетым и куда-то спешащим.

В семье у нас не знали кофе — пили только чай. Отец покрепче, дети — пожиже.

Мать сидела у самовара. Самовар отец считал важной приметой быта. У нас было два самовара, большой ведерный, блестящий, но дешевый — он сохранился недолго, и малый, желтой меди, на десять стаканов, который мы очень любили. В гражданскую медный был продан за муку, а побольше — стоял на кухне, потом был починен и какое-то время служил отцу и матери.

Отец стучал своей ложечкой, размешивая сахар, всегда чему-то аккомпанируя, либо суждению, либо тайной мысли.

Ложечка была серебряная, с каким-то гербом, побольше наших, тоже серебряных.

Сахар у нас давался только песок — в сахарнице. Никогда никакого кускового; тоже по каким-то таинственным педагогическим обстоятельствам установился этот обычай.

На торжественные службы отец надевал крест червонного золота, который сам же он в торгсинное время разрубил топором на куски. Я написал об этом рассказ "Крест" — входящий в "Колымские рассказы".

Мою мать отец тоже заставлял носить новое, делал ей подарки. Деньгами в доме распоряжалась мать, но как-то выходило, что семейные лодки, козы, собаки диктовались потребностями и вкусами отца. Личных же ценных вещей у мамы не было, кроме дорогой шали черного кружева и венчальных свечей, ничего мать в своем сундуке не хранила. Наверное были подарки вначале, но дети — восемь человек детей, из них трое умерших — заставили мать или передаривать или перешивать детям — либо сам вкус ее

изменился и вошел в привычный круг потребностей и планов отца.

Кроме этой черной кружевной шали, никаких вещей у мамы не было. Да и шаль полетела на рынок много раньше отцовских вещей. Муфта была еще у мамы модная, шляпка какая-то с перьями.

Как и подобает потомственному шаману, отец был у нас главный лекарь, лечил всех без врачей, полистав модный лечебник, терапевтический справочник и ограничившись визуальным осмотром. Лечить бы ему по-алеутски, по-шамански — успехов было бы больше. Лечение давало плачевные результаты.

За мой "Меньер" — рвоту в тотемской поездке — я был строго наказан — что-то съел и не хочет сознаться, затрудняет лечение. Не видя все того же меньеровского комплекса моего вестибулярного аппарата, обвинял меня в трусости из-за боязни взбегать на колокольню — триста ступеней — праздничное развлечение вологжан. Та же трусость мешает, по его мнению, мне лазить по деревьям зорить гнезда.

А что я не хочу учиться стрелять, ссылаясь на то, что не вижу мушки, отец создал целую домашнюю комиссию — как может быть, если ты можешь читать, то не видишь мушки охотничьего ружья. Значит ты — врешь и подлежишь наказанию, презрению. В сражениях на гимнастическом бревне все побеждали меня, и это тоже приводило отца в бешенство, а у меня было природное нарушение равновесия. А мушку я не видел потому, что был близорук правым глазом, а левым дальнорук, что не мешало мне читать без очков — редчайшее преимущество в зрении. До сих пор у меня нет очков. Мне мою же тайну раскрыл доктор Страхов, главный врач из московской Алексеевской глазной больницы, и потом все глазные врачи, когда я им рассказывал о своей болезни, не прописывали мне очки, а просто принимали к сведению редчайший, известный им из учебников,

феномен. Но отец был не глазной врач и не отоларинголог. Он был капризный и не посылал к врачу, объявив все притворством.

Нарыв гнойный у нас лечили компрессом. Но ведь надо знать, как компресс ставить, и тут отцово лечение обошлось мне в нетвердой работы коленный сустав, а матери — в костный [туберкулез].

Не жалея, конечно, и самого себя, он дважды попадал под воспаление легких, что в дофлеминговские времена было грозной болезнью. От третьего воспаления легких, от третьей крупозной пневмонии, он и умер, шестидесяти семи лет. Все зубы его были целы — и физические и духовные.

Никак не хотел согласиться на операцию при своей глаукоме, болезни мучительной, сводящей больного с ума. Достаточно было перерезать нерв, и боли исчезли бы.

Отец ослеп в 1920 году, а умер в 1934. Четырнадцать лет слепоты. Надежда была, наверно, наивной — что вот-вот найдут какое-нибудь средство против глаукомы. Средство такое не найдено и сейчас.

Со своей безграничной верой в силу печатного слова, главным образом газетного — американская школа публицити, заокеанская надежность газетных объявлений, — он и лечил по книгам в физическом смысле и в духовном. В физическом — он доверялся популярному "лечебнику" — толстой книге, в которую заглядывал много раз, а также унаследованному от русских и алеутских шаманов умению управлять холодом и теплом в их почти безграничной клавиатуре.

Души он лечил советом, как исповедник, исповедующий вместо лечебника, — Евангелие или Требник, давал советы всем по всем случаям жизни.

Лечение физическим методом было всегда удачным — ведь неудачи в практике такого рода не регистрируются.

Не регистрируются и утешения и пророчества.

В Вологде он вмешался в мою болезнь, не понял ее, и я промучился целую жизнь с хроническим насморком, да не пустяковым, а таким, что заполняет нос. Я навсегда лишен обоняния, слух мой испорчен бесповоротно и безнадежно. Только потому, что меня не показали врачу в раннем детстве. У меня природное искривление носовых перегородок, пустячная операция — и мне возвратился бы орган обоняния.

Мать много раз просила показать меня врачу-специалисту. Ответом был только презрительный хохот. Именно отец дал мне в семье прозвище "тяптя" — ты сопля — из-за вечного насморка. Сопли эти не вылечились и на Колыме и заливают мой нос и по сей день. В день я трачу два носовых платка...

Отец все толковал слишком просто: "Не хочет высушить ноги, дрянь". "Пройдет".

Но сопли и потеря обоняния это еще не все.

Вторым моим позором в глазах отца была моя болезнь, нарушение моего вестибулярного аппарата, то, что называется "болезнью Меньера".

У меня — боязнь высоты. На Вологодской колокольне — триста ступеней непрерывного ежедневного страха, шатаний. А ведь колокольня — единственное развлечение вологжан, да еще ребят вологодских.

Каждое воскресенье колокольня открывается — такие виды на весь город, и весь город тянется к железным перилам, весь город, кроме сына отца Тихона, который шарается от высоты, плачет и бежит вниз.

Все это было расценено как заговор против доброго имени отца — вырастил некрепку.

Болезнь Меньера не дала мне побеждать на гимнастическом бревне, прыгать через ручки, переходить по бревнам лесные рвы, лазить за яблоками, зорить птичьи гнезда, пробегать по одной доске, прыгать на одной ноге, гонять

железное колесо по городу. Во всех этих играх я был самый последний. Я не катаюсь ни на коньках, ни на лыжах. Ничего кроме многолетних издевок я не услышал от отца.

Мать тоже не понимала моей болезни и тоже плакала, что я не хочу зорить гнезда, хотя это истинно мужское занятие для мальчишек и Шаламовского и Воробьевского рода.

Но и нераспознанный Меньер не был концом моих детских мучений.

У меня — своеобразное устройство глаз — правый близорукий, а левый — дальнороркий — редчайшее сочетание, которое без очков позволяет и читать и глядеть вдаль. У меня нет очков и сейчас. Эту мою особенность открыл мне доктор Страхов — бывший главный врач Алексеевской больницы, тогда мне было уже 27 лет, и я явился к нему за советом.

Страхов проверил — лучше ли я вижу обеими глазами, чем одним — при добавлении на другой глаз усиления или уменьшения, убедился, что зрение мое при любом добавлении стекол остается тем же самым, и предсказал мне всю мою редчайшую глазную судьбу.

Это пророчество — на сей раз научное пророчество исполнилось самым абсолютным образом. Я до сих пор, до 65 лет, читаю без очков и хожу без очков и не обращаюсь к глазным врачам.

Но у Страхова я побывал после смерти отца. А все мое детство я прожил под градом оскорблений.

— Не хочет стрелять! Врешь, что не видишь мушки! Ведь ты читаешь? Как же ты можешь не видеть мушки!

Мое нежелание убивать, стрелять, охотиться, резать кроликов и кур, закалывать кабана — тоже привело к тяжелому конфликту. Пока я категорически отказывался от охотничьего оружия, богатый семейный арсенал был продан — к позору отца, и сын уехал в Москву.

Вот к какому тяжелому, многолетнему конфликту привела медицинская неграмотность и самоуверенность отца.

То, что я прекрасно плаваю, управляю лодкой — без всякого обучения и показывания — тоже казалось отцу вредным ударом по его авторитету, — значит можешь, не инвалид.

Не выдержав экзаменов в королевскую гвардию — охотничью дружину, отказавшись от рыболовства — я был передвинут в ряды домашней обслуги — ухаживать за скотом.

Тут я нашел себя — но скоро выяснилось, что я не переношу смерть коз, кроликов, и сам не хочу, не могу убивать.

Традицией, как бы конфирмацией в нашем роде, городе, России были попутно охотничьи ружья. Я отказался от традиций позора, не бегал за братьями, когда они брали меня на охоту.

Я нарушил эту традицию, горжусь, что никогда не держал охотничьего оружия в руках.

Охотничье оружие и рыболовные снасти — невода, сети, — отец не признавал удочек и столько же раз, наверное, брал в руки удочку, как и я.

По книгам выбирались козы. Книга князя Урусова "Коза — корова бедняка" всегда лежала на его письменном столе вместе с Требником и была надежным пособием в отцовских экспериментах.

Охота, рыбная ловля, кролики, куры, огород — все это было и до революции, все это отец держал из чистого любопытства. В революцию это чистое любительство вдруг обернулось и вполне реальной пользой, хотя и не такой значительной, как хотел представить отец. А когда он ослеп — уход за козами в течение нескольких лет дал ему отвлечение, сознание какой-то пользы, которую он утверждал со всегдашней своей самоуверенностью. Мать не спорила с ним. Ведь именно матери нужно было и покупать коз, и варить им корм — заготавливать сено на зиму. Кроме своей еды — должна быть заготовлена еда козам. Все это ведь ежедневно.

А до этого — в течение всей жизни на руках матери было все хозяйство уже — те же куры, козы, собаки.

Для того, чтобы отец прожил свою жизнь капризного задиры, — нужна была какая-то жертва, личная. Мать была спокойней отца — но пожертвовала всем из-за этих проклятых отар.

Куроводство у нас тоже велось по книгам. Покупались проспекты. Отец писал заказ в магазин, выписывались семена каких-то трав, огурцов, необыкновенного редиса.

У нас никогда не выписывали семян цветов, и даже на куст сирени, растущей в общем огороде, отец смотрел подозрительно. На своем участке он выращивал помидоры. Отец провел свою семью мимо цветов.

На сей предмет читались, впрочем, и лекции — как хорошо собирать полевые цветы — и все братья, все сестры, особенно брат Сергей, привозили матери охапки васильков, кувшинок, лилий из своих охотничьих поездок. Но никто никогда не привозил в наш дом цветов оранжерейных.

Не было у нас ни фикусов, ни герани. Помню какой-то олеандр в бочке — единственное оранжерейное растение, которое пыталось прижиться в нашей квартире, но, из-за невнимания в поливке, как-то этот олеандр не нашел себе места в моей памяти.

Никаких цветочных горшков не было на окнах нашей квартиры. За окном при входе на наше крыльцо цвел вологодский боярышник, а не сирень.

Странной и страстной, постоянной мечтой отца было участие во всяких сельскохозяйственных выставках, особенно со своими экспонатами — тыквой или парой кроликов.

Отец — один из организаторов в Вологде сельскохозяйственных выставочных дел.

В голодные годы важной культурой стал картофель. Отец высаживал картофель строго по книжке — по самой

модной, хоть и советской инструкции — был ли в этом толк, ответить сейчас не могу.

Гроб сыну — моему брату Сергею — отец хотел выбирать тоже по какому-то кладбищенскому проспекту — но время было не до проспектов. Помню, мы вдвоем с отцом везли откуда-то с горы, из-за города, тяжелый, сырой деревянный крест — санки разъезжались по грязи, крест был сырым, тяжелым, тот самый Голгофский крест Христа. Санки — обыкновенные вологодские "тормозки" — заносило, и тогда тяжелый крест сам командовал этим движением, сам отдышал и сам двигался дальше по грязи, по лужам, по льду. Мы — я и отец — только сопровождали, только присутствовали при этом неторопливом движении.

ХШ

Самой главной личной проблемой отца во время его двенадцатилетней службы в качестве православного миссионера на Алеутских островах было своевременное и разумное полноценное обучение детей.

Я, к счастью, родился после этих педагогических экспериментов отца.

У отца была философия: "каждый пробьется сам", принцип, который он считал пригодным и для гуманитарного апостольства XIX века, и для жестокой конкуренции XX-го, хотя практические рецепты философии Максима Горького явно не годились для послереволюционных лет.

А в этом вопросе отец поступил в полном согласии со своими убеждениями — сводом правил, из которых не было исключений.

Выписал на Алеутские острова заочный курс "Гимназии на дому" — было такое халтурное издание — и со всей страстностью убежденного заочника занялся педагогической

деятельностью вполне во вкусе яснополянских упражнений Толстого, кое в чем — по тайной гордости отца — и превосходящей затеи графа.

К счастью, рядом с отцом была моя мать — профессиональный педагог, сменившая указку городской учительницы на ломаное алеутское копые, — совершившая с отцом заокеанское путешествие. Мать организовала несколько алеутских школ, а своих детей учила сама по школьным программам казенных учебных заведений, ни много ни мало целых двенадцать лет.

Так учились Валерий, Галя и Наташа. Только второй сын Сергей отставал из-за лени. Отец, получив своеобразный сигнал, взялся за обучение Сергея сам, чтобы показать матери, насколько прогрессивнее методы, разработанные лучшими людьми России — цвет русской профессуры — для популярного издания "Гимназии на дому".

В 1905 году отец с семьей вернулись в Вологду, второй мой брат Валерий поступил в гимназию — в тот самый класс, куда и подлежало ему поступить, сдал и вступительные, а позднее — и выпускные экзамены.

То же было и с сестрами, Наташей и Галей. Галя даже получила серебряную медаль при окончании Мариинской женской гимназии. Все братья и сестры проходили в Вологде одинаковые испытания, все сдавали вступительные экзамены соответственно возрасту и один за другим, переходя из класса в класс, доходили до успеха. Наташа, младшая сестра, кончила гимназию в 1917 году.

Иначе пошло дело с Сергеем, которого готовил для верности сам отец по прогрессивной "Гимназии на дому".

Сергей был принят, но только в пятый, а не в шестой, как было задумано. В пятом классе брат был оставлен на второй год, а потом — исключен за неуспеваемость.

Этого оскорбления отец никогда не простил хозяевам города. Со своей холерической мнительностью, привыкший

все усложнять, менять масштабы явлений, отец не хотел и подумать о самом простом ответе на этот столь важный для него вопрос, перебирая различные варианты подспудного борения высших сил. О том, что Сергей просто не имеет способностей для ученья в школе — в том классе, который намечался отцом, а "Гимназия на дому" — есть только "Гимназия на дому" — учебник для заочного образования. Он не хотел поглубже заглянуть в психологию собственного сына.

А если бы заглянул поглубже — увидел бы, что по своим качествам, физическим и моральным, по праву на карьеру, успех, по беззаветной способности показать личный пример — Сергей для нашего города не менее яркая и не менее характерная фигура, чем отец — того же нравственного ряда, но физического, а не духовного порядка.

Здесь я продолжаю рассказ о педагогических воззрениях отца, с которыми столкнулся и не согласился его третий сын — я.

Было ясно, что я поглощаю и способен поглотить огромное количество книг.

Но книг-то у отца и не оказалось. Кроме справочников по животноводству и профессиональных требников, книг в книжном шкафу у отца не было.

И это одно из самых поразительных моих детских открытий.

Книжный шкаф красного дерева, который так выгодно был продан в годы голода — выменен на целый пуд муки, не скрывал за собой никаких книжных сокровищ.

Сборник "Знание" — с библиотечным штампом, Флоренский "Столп и утверждение истины", "Петербург" Белого — кое-то чтение сохранила моя память.

Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца. Но был Розанов — "Легенда о великом инквизиторе" — и это все. Кто-то сюда же поставил "Войну и мир", Михайлова,

Гейне в переводах Вейнберга, Жуковского. Но это были все не отцовские книги. Старшие мои братья и сестры удовлетворялись хрестоматией Галахова.

Я помню чей-то разговор, чей-то вопрос по этому поводу. А может я этот разговор и вопрос выдумал сам. И отцовский ответ.

”Передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой. Кропоткин и Лавров для этого и жертвовали свои книги в народные библиотеки, чтобы каждый мог пользоваться”.

К этому же времени относится и мой рассказ, где отец пытается разрешить мои проблемы своим, то есть самым передовым, прославлением в газетах путей чтения в общественной библиотеке.

К счастью, мне удалось получить разрешение на получение книг в новой ”Рабочей библиотеке” — образованной из конфискованных помещичьих библиотек. Там я досыта начитался Дюма, Буссенара, Жакоба, капитана Мариэтта.

Наиболее ценные книги шли в публичную библиотеку.

Но и этого было, конечно, мало, хотя я читал дни и ночи напролет. К счастью, у нас никогда не запрещали читать за столом во время обеда и ужина.

Отец читал газеты, журналы. Мне, конечно, сейчас же выписали журнал ”Семья и школа”, но я давно очень далеко ушел в чтении вперед, и ”Семья и школа” могла только льстить тщеславию отца.

В это время, кроме быстрого чтения, я открыл в себе еще одну способность, о которой не знали и не подозревали ни отец, ни мать, ни сестры.

Лет примерно восьми, с помощью так называемых ”фантиков” — сложенных в конвертики конфетных обложек, легко проигрывать для себя содержание мною прочитанных романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли

до бумаги и не предполагали дойти. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного паянса. Я играл в эти "фантики" сам с собой несколько лет.

Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир "фантиков" был моим собственным миром, миром видений, которые я мог вызвать в любое время.

Сестры, да и мать, думали, что я таким способом зубрю или учу уроки. Но никаких уроков с помощью "фантиков" я не учил. Я увез коробку "фантиков" в Москву, и только после моего первого ареста сестра, уничтожившая всю мою жизнь, все мои архивы, сожгла и эту драгоценную коробку вместе с моими дневниками и письмами.

Так вот, отключиться в этот мир мне было очень легко, и в сущности все читанные мною книги с помощью "фантиков" я повторил.

Отец уже начал слепнуть, и то, что я не занимаюсь, читаю только за обедом, раздражало отца. Он пытался иногда вмешаться в этот мир.

— Что ты делаешь?

— Читаю.

Все мы трое — мать, отец и я — сидим очень тесно у керосиновой лампы семилинейной, в ее керосиновых лучах я ловлю буквы, перелистывая толстую книгу.

— Что ты читаешь?

— Книгу!

— Какого автора?

— Понсона дю Террайля.

— Как называется?

— Похождения Рокамболя.

Отец встает, и мне следует выволочка и длительное объяснение, что чтение таких книг не приведет к добру.

— Мой сын должен читать Канта и Шеллинга, — важно говорит отец, — а не Понсон дю Террайля, не Конан Дойля.

Отец думает что-то и выносит решение в своем энергическом стиле:

— Надо сходить к дяде Коле.

Дядя Коля — старший брат матери, единственный ее родственник, с которым у отца хорошие отношения. Дядя Коля — чиновник казенной палаты. У него свой дом двухэтажный. Жена его давно умерла, а жена, которая живет с ним без венца, — хозяйка местной типографии, тоже приятельница отца. Она умерла первой, и отец служил панихиду на ее могиле.

Дядя Коля — одиночек в большом новом двухэтажном доме. Оба этажа в стеллажах действующей большой библиотеки тысячи на две, а то и на три названий. Дядя Коля выписывает много журналов самых передовых, ведет дневники — каллиграфическим почерком, сочиняет сатирические стихи, обличающие местное начальство.

Мать показывала мне дяди Колину эпиграмму на очередного губернатора:

”Когда подобострастно
 льстивые уста
Ему лизали жопу
 с чувством наслажденья,
А у него была вся
 жопа нечиста,
То это, господа, достойно удивленья.”

Эта эпиграмма закончила служебную карьеру дяди. Тогдашний ”самиздат” работал достаточно проворно и с хорошей отдачей.

Мать показывала мне несколько дядиных поэм и в более приличном, несколько мечтательном и вполне самокритичном роде.

”Хранил от всех их много лет
Затем, что не был я поэт.”

Не только любителем литературы, дядя был и квалифицированным судьей тоже.

— Вот Андерсен.

— Это я все читал.

— Ну, лишний раз прочтешь, — миролюбиво сказал отец.

— А Канта?

— Да! Вот стоит у вас "Критика чистого разума".

— Это тебе еще рано, — сказал отец.

— Видите, какие проблемы, — сказал дядя Коля неуверенно.

— Ну вот что, Николай Александрович, — сказал отец, поднимаясь уходить. — Я зачем к вам — жизнь есть жизнь. Оставьте вашу библиотеку Варламу.

— Охотно, — сказал дядя Коля с улыбкой. — Можешь считать себя наследником моей библиотеки.

Меня покорило от бесцеремонности отца. Но разговор был весь в его стиле.

Случилось так, что Галя, красавица и скромница, скоропалительно вышла замуж вовсе не в ту семью, о которой думал отец, — за сына местного жандармского офицера. Муж ее дослужился до штабс-капитана, был ранен и отсиживался в Вологде.

Молодые искали квартиру, и дядя Коля предложил отцу поселить их у себя. В ту же зиму дядя Коля умер от инсульта, а муж сестры продал все книги букинистам, кроме трех томов энциклопедии Брокгауза и Граната. У дяди было несколько словарей, которые сестра и муж сожгли зимой, не заботясь о покупке дров.

Это потрясло отца, и он проклял дочь. Разумеется, тут дело не в продаже букинистам, не в краже, а именно в сожжении, в физическом участии дочери в таком варварском акте.

С этого часа и до самой смерти Галя в Вологду не являлась. И никакие материнские мольбы не могли изменить отцовского решения.

Это был тот самый муж, который выдавал Гале рубль в день на хозяйство в течение нескольких лет, пока она не бросила его и не уехала в Сухум со своим вторым мужем.

Старший сын Валерий был человек, раздавленный отцом, — первое из его многочисленных семейных разочарований. Любитель-художник, вернее рисовальщик, достигший немалой искусности в выпиливании по дереву по готовым рисункам. Эти рисунки, к позору брата, украшали его стену в братской комнате — проходной.

В юности отец дал ему возможность съездить в Третьяковку, к передвижникам, конечно, ибо другой живописи для отца не существовало.

Визит этот краткий не дал желаемого результата. Вообще, отец практиковал своеобразный педагогический прием любого знакомить с любым искусством — хоть с эстрадой, хоть с цирком, с современными стихами и Четьи-Минеем, с живописью или философией, с животноводством и огородничеством, охотой и плаванием.

Получив этот первичный толчок, сын, по мысли отца-творца, должен откликнуться в унисон тому току, который дан, и зазвучать сам.

Так и меня он водил то в церковь, где служил сам, то на бумажную фабрику, то в синагогу.

То заставлял участвовать в каком-то детском спектакле. Влечения лицедействовать в пять лет я не получил, но впоследствии был не один год связан с литературно-драматическим кружком школы и через этот кружок — с городским театром.

XIV

В Вологодском театре я даже получал жалованье как статист, один какой-то сезон, в бумажных миллионах. Театр полюбил, но актером не стал.

Тогда была мода на диспуты, на обсуждение репертуара.

Борис Глаголин там ставил и играл ряд сезонов. Кончался спектакль, Глаголин выходил на авансцену, не разгримировываясь, и начиналось обсуждение спектакля.

Актера из меня не получилось, даже для школьной драмы. Но любовь к театру я сохранил.

Театральные кружковые дела давали мне официальную возможность поздно приходить домой. Но и без того у нас не запрещали ночевать где угодно. Матери было запрещено расспрашивать что-либо о проведенной ночи. И мать обычно говорила, отпирая дверь: "Зажигай лампу. На шестке там стоит суп, — ешь".

Этой вольной жизнью пользовался не только я — десятилетний мальчик, но и мои старшие братья и сестры.

За чтением детей следили, но по каким-то старым, давно установленным правилам, которые никто из старших детей и не думал нарушать и которые внезапно выплыли в самом моем раннем детстве.

Так выяснилось, что мне можно читать — кроме школьного чтения — Уэллса, Майн-Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Киплинга "Маугли", Виктора Гюго. Стендаля, Анатоля Франса я прочел много позже.

В индексах запрещенной литературы числились почему-то Александр Дюма, Жаколио, Луи Буссенар, капитан Маризтт, и особенно — Конан-Дойль. Почему такая жестокая дискриминация постигла Александра Дюма с Конан-Дойлем — я не знаю.

Александра Дюма я ввел в наш дом всем девяностопятилетним сразу — из новой библиотеки, составленной из конфискованных книг помещичьих усадеб. Штампов уж я не помню. Штампы были, их не вырезали, а просто ставили новый: "Рабочая библиотека г. Вологды". Все эти тома, их было очень много, были переплетены в веселенькие ситцевые переплеты.

А с Конан-Дойлем случилась такая поучительная история. Я как-то открыл чулан — он был под лестницей, и вытащил из-под пыльного хлама бумажный, выгоревший на солнце полуистлевший клад. Это были приключения Шерлока Холмса, неразрезанной пачкой, хранящей следы веревки. Я понял, что это приложение к Сойкинскому журналу "Природа и люди", который выписывали моему старшему брату несколько лет.

Отец отобрал приложения и запер в чулан, судя по истлевшей бумаге, несколько лет назад.

Я, конечно, запоем прочел это чудное чтиво. А потом уж без библиотеки достал и другие романы Конан-Дойля вроде "Похождения бригадира Жерара".

Конечно, чтение и знание — разные вещи. Но ни на какое земное счастье не променяю ощущения жажды чтения, которое нельзя поглотить никаким количеством книг, страниц и слов, это сладостное чувство еще не прочитанной хорошей книги. Я глубоко понимаю людей, которые не хотят слушать даже беглого изложения сюжета принесенной, врученной, но еще не читанной книги.

Сам я прочел бесчисленное количество книг в любом порядке и давно. Научился разбираться — интересная книга или нет. Я не считаю свой метод познания мира идеальным, но даже в университете не научился отделять полезное чтение от чтения вообще.

Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер — суховатое, вовсе недостаточное, чтобы залить просыпающуюся жажду, чтение. Все эти авторы и в подметки не годятся Александру Дюма — романисту, и Киплингу, и Джеку Лондону.

Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский — все это школьное чтение, и на него нет эмбарго.

XV

Катастрофа, которую потерпел отец в обучении своего сына Сергея, исключенного из гимназии за неуспеваемость, подействовала на отца самым угнетающим образом.

Третьего сына — меня — отец готовить в школу не стал и бросил мое обучение на руки матери.

Мать, вместе со своими обязанностями кухарки, поварищи и скотницы, стала меня готовить к школе. Никаких игрушек. Только кубики с буквами.

Быстро выяснилось, что у меня хорошие способности и что меня могут принять раньше на год — то есть семи лет.

Отец, при известии о таком успехе, приободрился и велел обучать меня по самой лучшей, самой модной, самой прогрессивной, самой современной "Новой азбуке" Льва Толстого.

Выяснилось, что педагогические способности графа ко мне нельзя применить, ибо мне не нужна "Новая азбука"... я читаю с трех лет, и пишу печатными буквами с этого же возраста, без помощи прогрессивной азбуки. На учебнике "Новая азбука" я написал несколько слов и цифр печатными буквами, мать обвела их чернилами и строгой своей учительской профессиональной рукой написала дату. Эта "Новая азбука" долго хранилась у матери и сожжена лишь во вторую мировую войну — в моем архиве.

Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни. Я и стряпню возненавидел и мать полюбил и грамотой овладел именно там, — в царстве матери, на кухне.

В душе моей детской рождалось чувство острой жалости, обиды за мать, красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты и опару.

После, когда отец ослеп, эта острая жалость перешла на отца, а мать, управляющая семьей в полном согласии со своими, а не отцовскими принципами, так же месила тесто и поило скоту целых четырнадцать лет — до смерти отца, — но жила необходимой, вынужденной жизнью. Для нее переход от работницы к хозяйке не был ощутимым. Ей, пожалуй, поменьше пришлось ворочать чугуны, чем тогда, когда семья была большой, — но все равно пришлось ворочать эти чугуны до самой смерти.

Но все это было впереди, хотя и очень близко. А пока я играл в кубики на кухне, выкладывая слова, главные мои достижения вписывались твердым красивым почерком матери прямо чернилами на обложку *модной* "Новой азбуки" Толстого — учебника, по которому передовой деятель русской культуры — мой отец, собирался обучать своего сына.

Новая азбука Толстого не понадобилась, и, мнительный, как всякий холерик, отец заподозрил тут какое-то оскорбление, какой-то подвох, подрыв его безграничного авторитета. Отец был авторитетом не только в вопросах культуры, но и хозяйства, и всем остальным членам семьи в лучшем случае удавалось лишь высказать свое мнение, тут же публично отвергнутое отцом:

XVI

Я с детства обладаю способностью быстрого чтения — способностью, которая во время моего детства не принималась всерьез.

В мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь.

Способность эта обнаружена мной в самом себе еще до школы за нашим общим чайным или обеденным столом. Читать у нас за столом не запрещалось, так сказать юридически, и пока отец справлялся с "Русскими Ведомостями", я обычно успевал пролистать пол романа, а то и целый очередной роман.

— Ты ведь не читаешь, а проглядываешь.

— Нет, читаю.

Об этой особенности моего чтения мать рассказывала, но отец, у которого все делалось по часам, добрался до этой моей проблемы лишь в школьное мое время, где было обращено внимание еще на одну особенность моего развития. Я никогда не готовил уроков, и любая проверка, сделанная сестрами, братьями, матерью, давала всегда положительный результат, я всегда знал все — и школьные и домашние задания. Чуда тут никакого не было. Просто все школьные задания я делал сразу по возвращении домой, в первый же час, не ожидая, пока мать меня покормит, еще до чая, до обеда, иногда во время еды. Но никогда я не оставлял ни одного домашнего задания на вечер или утро — все свободное время я употреблял на чтение всего, что под руку попадет, чтобы занять, залить жажду жадного мозга. Когда выяснилось, что школьные задания сделаны, мне не стали мешать читать.

Школьные дневники мои были в пятерках, но отец не верил никому, кроме себя. Постоянное мое чтение за столом не нравилось отцу. Отец решил лично и публично разоблачить вундеркинда, открыть его тайну, изобличить и разоблачить.

Великий вечер настал. Для эффектного сокрушения восьмилетнего грешника была собрана вся семья, и отец приступил к публичному допросу, то глядя на свои золотые часы, то опять убирая в карман свой американский "полухронометр", как нам объяснялось всегда, когда нам удавалось дотронуться до этого священного отцовского предмета.

В нашей семье не вертели спиритических блюдецек — занятие, которым увлекалась вся интеллигентная Вологда. В нашей семье не играли в лото — любимое препровождение времени чиновничьими вечерами, кроме преферанса.

Но карты были запрещены отцом и даже для пасьянса, для гостей береглась одна колода, но она никогда не вскрывалась, и мать не раскладывала пасьянсов.

Поэтому я не знаю, есть ли у меня флюиды в пальцах, — и что нужно кричать, вытаскивая из мешка бочонок с цифрой "90".

Не умею я прикупать в темную, как впрочем и в светлую.

Все это я считаю лишением — как музыку, как живопись — способности мои не сумели развиться.

И если в живописи-то я имею какие-то любительские, но все же устойчивые вкусы, то к музыке и подступать не решался. Учитель пения Александров захлопнул эту дверь.

Можно было бы ведь что-то слушать на музыкальных вечерах — ходить на концерты и вести себя в этом зыбком море.

Способностей музыканта у меня не было. Но вот мать предъявляла какие-то мои новые качества, не менее тонкие, как какие-нибудь "до-диез", и не менее необъяснимые.

Отец был преисполнен решимости разоблачить зазнавшегося медиума, зарвавшегося спирита, свившего гнездо в собственной его семье, положить конец шалостям новоявленного гения, дать публичное представление на манер спиритического сеанса, где восьмилетний медиум — отец не любил спиритизма, которым увлекалась вся Вологда тогда, — под твердой научной рукой будет разоблачен.

Горела керосиновая лампа с резервуаром в форме капустного кочна. В темноте вздыхали сестры, Наташа и Галя — и где-то вглуби, почти растворившаяся во тьме, стояла мать, вышедшая из кухни.

Мы сидели у стола друг против друга. Венские стулья потрескивали, у отца — почаще, у меня пореже.

Цирковое представление не обещало быть долгим — об этом можно было судить по нервным пальцам отца, перебиравшим стопку книг на этажерке.

— Ну, — сказал отец громко и раздельно. — Возьмем что-нибудь такое, чтобы сразу стало ясно. Вот — "Строитель Сольнес" Ибсена, — это ты читал?

В руках отца была тоненькая книжка Универсальной библиотеки в издательстве Сытина.

— Читал, — сказал я. — Еще в прошлом году.

— Расскажи содержание.

Я напрягся, и губы сами собой начали выговаривать фразы тем способом, который внесли в мою жизнь "фантики".

— В норвежские горы приезжает архитектор, чтобы выстроить храм Богу. — Голос мой креп с каждой фразой и я уверенно пересказал "Строителя Сольнеса". Я ничего не забывал, а тем более читанное год назад.

— Да, вроде правильно, — сказал отец, поигрывая часами и что-то соображая. Не то он сам не мог вспомнить содержание Ибсеновской пьесы, не то, наоборот, с удовольствием вспоминал.

— Правильно! — вздохнули сестры в темноте.

— Правильно! — показала на свет мать.

Но спектакль еще не был окончен.

— Но ведь ты рассказываешь сюжет? — озаренный какой-то новой педагогической идеей, спросил отец.

— Сюжет, — подтвердил я.

— Сюжет, — торжествующедохнули сестры.

— Сюжет, — подтвердила мать, растворяясь во тьме.

— Тонкостей не улавливаешь? — строго спросил отец.

— Тонкостей не улавливаю, — покорно согласился я.

— Он не улавливает тонкостей, — задышали сестры.

— Не улавливает, — дохнула из кухни невидимая мать.

— Так зачем же такое чтение, — отец уже уселся на своего любимого коня. — Зачем же такое пустое чтение? Прочтя художественное произведение, человек должен уметь увидеть характеры героев, увязать их с эпохой, со средой, а не тратить время на это бесполезно, прямо-таки вредно. Ты понимаешь, что если чтение бесполезно, то оно тем самым и вредно?

— Понимаю, — сказал я.

— Вот видишь, понимаешь. А сам читаешь этого капитана Марриэтта. Где ты берешь этого капитана Марриэтта?

Я сказал, что беру у одного из школьных товарищей, Воропакова.

— Надо записаться в школьную библиотеку, или даже в городскую библиотеку. И там читать. Эти библиотеки создавали лучшие люди России. И сами лучшие люди России в свои школьные годы читали в таких библиотеках.

— Там мало дают, — искренне сказал я.

— Как мало дают?

— Две книги в неделю. Третью я успеваю прочесть, пока в очереди стою.

— Это совсем не мало. Над вопросом, сколько давать книг читать, думали лучшие люди России — Рубакин, Владиславлев. Норма эта — результат глубокого изучения вопроса, а не высосана из пальца, не взята с потолка. Ты должен читать в той же библиотеке, где читает вся русская интеллигенция, а не пользоваться какой-то контрабандой вроде капитана Марриэтта. Я завтра же скажу директору Публичной библиотеки, и он даст распоряжение, чтобы тебе давали три книги в неделю. Библиотечные книги, кстати, нельзя будет читать за чаем, это отучит тебя загибать страницы, что ты допускаешь в отношении капитана Марриэтта.

XVII

Залить эту жажду чтения не удалось. По совету кого-то, меня отвели к вологодскому ссыльному, содержащему библиотеку. Визит этот и его последствия описаны мной в рассказе "Ворисгофер".

Мычание, шепот искали выхода в слова. Никакие "Ау-ду-ду" не могли заменить того, что существовало помимо меня, жило помимо меня, хотя и во мне. Владея грамотой с трех лет, я к пяти годам научился пересказывать своими словами то, что я прочел в книжке. Но это были не сказки, не детские "Ау-ду-ду", а странным образом прозаические пересказы для старших классов мужской гимназии. Я подобрал хрестоматийного Знойко, попавшегося мне в учебниках брата Валерия. Вот из этой-то хрестоматии я почерпнул свои импровизации, которыми развлекал сестер, тревожил мать.

Мне было предложено показать случившееся со мной высшему арбитру — отцу, и отец выслушал не без интереса Плутарха и Овидия Назона из уст своего собственного сына.

Никакого решения по этому вопросу в семье принято не было, но с этого времени меня каждый вечер заставляли являться пред светлые очи отца, который сидел с гостем или в зале — если гость был дальним, либо в комнате сестер, если гости были ближними — родственниками, хорошими знакомыми, соратниками отца по его кооперативным сражениям, и меня заставляли без подготовки рассказывать миф из Назона, либо биографии из Плутарха. Сначала я делал это охотно, но мне это осточертело, такая профанация того таинственного дара, который стучал в мое сердце. Как я ни старался варьировать какой-нибудь миф о Ниобее и биографию Цезаря, мне было тесно в границах прочтенного и отец легко обнаружил, что я не всегда барабаню одинаково, а пытаюсь, как он выражался, "подвирать". Это подвирание

нарушало какой-то его тайный идеологический принцип, и вскоре меня не стали вызывать для рассказов о мифах.

Разумеется, хотя речь шла об адаптированных для средней российской школы и "Метаморфозах" Овидия и страстной биографии Светония — где все было целомудренно по-вегетариански, все же гости ожидали от способного мальчика — что он шагнет за страницы учебника Знойко и угостит слушателей настоящим Овидием, поэтом науки страсти нежной, или воскресит Агриппину, задушившую мужа, чтобы сделать императором сына.

Но я не уходил далее Знойко, не было у меня и сведений об этом.

Плутарха, конечно, нужно читать в юности, в детстве. Это книга вроде Библии. Но не в адаптации для школьников. Поэтому Плутарх не мог оказать на меня влияния ни вредного, ни полезного — просто потому, что это был не Плутарх.

Постепенно я стал ненавидеть эти демонстрации, стал отбиваться, затормозил свое изложение, стал забывать, путать и был освобожден отцом от этой деятельности, лстящей его тщеславию.

Впрочем, эти рассказы, эти мифы Назона и походы Тиберия какую-то роль в моей судьбе сыграли.

В какой-то час каждого своего трудового дня отец смотрел на свои золотые часы, щелкнув крышкой, — наступало время вечерни или светского собрания.

Отец посмотрел на листопад, на листки календаря и определил час, месяц и год моего поступления в среднюю школу. В Вологде была и мужская гимназия Александра Благословенного, откуда выгнали моего брата Сергея за неуспеваемость. Ту же гимназию окончил и старший мой брат Валерий, и реальное училище — где, как во всех реальных училищах, преподавательский состав был лучше, чем в гимназиях, и более реальным приближением к технике,

к земле, а не воспряди в гуманистические высоты греческого и латинского языков — реальные училища были без древних языков.

Преподавание в реальных училищах было лучше, чем в гимназии, более нужным двадцатому веку, но отец, весь в девятнадцатом, разумеется, считал реальное училище заведением второго сорта.

Меня предполагали сначала отдать именно в реальное училище, где я бы избег мести Леонида Петровича Капранова, черносотенца, гимназического инспектора, повинного в горькой судьбе моего исключенного брата.

Но из-за моих "ярких способностей" отец перерешил в последнюю минуту, намереваясь дать еще один бой отцам города, на этот раз с надежным инструментом в виде собственного семилетнего сына.

Гимназия давала право на поступление без экзамена в университет. Реальные училища такого права не давали — нужен был поэтому конкурсный экзамен, а рассчитывать заранее на способности сына не приходилось. Гимназия была надежней, где движение вверх было автоматическим.

Мой старший брат окончил Вологодскую гимназию и имел право на обучение — в любом высшем учебном заведении — традиционном Петербурга, Петрограда, но также и Москвы, но патриотическая воля отца бросила сына в офицерское училище. Средний же сын был исключен из той же гимназии, как второгодник, не успевающий.

Мне не было еще полных восьми лет, когда отец повел меня сдавать документы в гимназию. Здание это и сейчас в Вологде цело, что в нем — я не знаю.

В это здание с аракчеевскими колоннами московского барокко отец ввел меня внутрь и в полутьме довел до мраморной доски, где были золотом вытеснены фамилии первых учеников, окончивших Вологодскую гимназию со дня ее основания.

— Вот здесь должна быть твоя фамилия через 10 лет!

— Хорошо, папа, — сказал я.

Когда я поступил в Вологодскую гимназию в подготовительный класс в 1914 году — и переходил в первый, второй — революция застала меня в третьем классе гимназии, — я был предупрежден отцом и мамой, чтобы я не огорчился, если буду получать плохие оценки, хотя буду заниматься хорошо. Не плакал, словом, не обижался, — на это есть высшие причины.

Однако никаких высших причин не оказалось, я окончил и подготовительный и первый и второй класс первым учеником. Родители внимательно рассматривали все мои пятерки — в дневнике, а также в свидетельстве об окончании четверти, полугодия — всегда были пятерки.

— Меня боятся! — комментировал презрительно отец.

Стихи отцом презирались. Вот газетные заметки или статьи — другое дело — это патент на признание, а уж работа в редакции журнала — я заведовал в тридцатом году двухнедельным журнальчиком в Москве еще при жизни отца — такая деятельность вызывала в нем одобрение и уважение, хотя что может быть менее солидно. Отец не мог оценить и художественную прозу.

Я читал его очерки (мать показывала) о Кадыяке в церковном журнале, читал воспоминания о вологодских епископах, напечатанные в церковной прозе двадцатых годов.

У отца не было литературного таланта, американскими очерками он очень гордился, гордилась и мать.

XVIII

Гимназическое учение начиналось с подготовительного класса, который считается теперь первым. В подготовительный класс принимали с восьми лет, но делалось и исключение.

Я сел на гимназическую парту этой гимназии осенью 1914 года. Все экзамены, опросы шли в высшей степени благополучно для тщеславия отца, за исключением урока пения.

Пение преподавал городской капельмейстер по фамилии Александров, по кличке "Козел", чьи белые перчатки я часто видел мелькающими почти в цирковом темпе у городского военного оркестра, духового оркестра, хлещущего летний вологодский воздух резкими звуками, как бы пощечинами по вологодской тишине.

Малышом, затерянным в толпе, я часто вглядывался в неподвижное, маскообразное лицо капельмейстера и удивлялся, как по взмаху именно его палочки то бушует, то смиряется оркестр. Как можно при таком неподвижном лице указать какие-то аллегро и престо, сразу доходящие до глубины души слушателей, ибо оборванные небрежной рукой в белой перчатке туши, гимны сейчас же вызывали движение, возгласы толпы. Ни одного лица оркестрантов я не видел. Лица были закрыты геликонами, корнет-а-пистонами, и что за тайна скрывается там, я еще не знал. Но лицо капельмейстера я видел ясно, вглядывался в его черты напряженно, хорошо запомнил его маскообразность, равнодушие.

И вот сейчас этот изученный на всех городских парадах человек подходит ко мне, но не с геликоном, не с флейтой-дубинкой, чтоб оглушить, навсегда лишит слуха мои бедные уши, а со скрипкой, чтоб тончайшим движением смычка извлечь сокровенную суть детской души. И звенит струна, поет, пищит струна учителя над самым ухом.

— Ну! Тяни за мной! А-а-а...

Я потянул, подчинившись этой все сметающей воле, погрузившей меня в невидимый, неслыханный дотоле мир.

Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное мое сердце уже забило ожиданием очередной победы, ибо и арифметика и русский язык — все это уже были поверженные рубежи.

Все в классе остановилось, замерло.

— Ну, потяни еще раз!

Я потянул еще раз. Учитель сказал:

— Слух у тебя, Шаламов, как бревно. — И перевел внимание своей скрипки на следующего ученика.

Я расплакался нервным истерическим плачем, ничего не понимая. На перемене парту мою окружили товарищи.

— Дурак, — кричали они. — У тебя же нет слуха.

— Нет слуха, — в отчаянии ревел я.

— Так что ж ты реवेशь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки.

Но я был неутешен, обижен этой неожиданной дискриминацией.

Отчет мой дома был выслушан не то что недоброжелательно (с отцом всякое бывало), а просто:

— Нет так нет...

Отец вероятно не имел бы ничего против, если бы я пел в каком-нибудь детском хоре — но законами физики отец командовать не мог, и семья примирилась с этой моей утерей.

А утерья была очень большая. Я так и вырос без музыки, представляя уже взрослым музыку мира по Блоку — как некий шум времени. Но шум этот вовсе не был музыкальным. Ритмы, которые слышал Блок, скорее уж относились к конкретной музыке, а к ограниченности гамм никакого отношения не имели.

Между тем малыш так тосковал именно по ритму, что задумал быть даже певцом — не художником, не скульптором, а певцом, и именно эта тяга к музыке и свела мальчика со стихами.

Капельмейстер "Козел" — Александров — появляется в моей жизни еще дважды. Не пройдет и пяти лет, как в после-революционной школе я буду раздавать посылки "Ара" и делить школьный хлеб — всем школьникам в тот год давали кроме четверки — четверть фунта по общей карточке — еще

и восьмушку в школе. Прямо привозилась черная теплая буханка ржаного хлеба, липкого, грязного, и делилась — всегда мной в нашем классе.

После резки и раздачи обычно я встряхивал мешковину, на которой резали хлеб, кому-то в руки. Но на этот раз не сумел сделать этого последнего движения.

Из темноты класса, откуда-то из коридора приблизилась фигура, в которой я с трудом узнал нашего учителя пения из первого класса гимназии, нашего городского капельмейстера Александрова. Он был, разумеется, в штатском, в каком-то кургузом пальто не по росту. Пение у нас давно, разумеется, не преподавалось, как буржуазная наука, и не было жертв — дискриминированных только потому, что у них музыкального слуха нет.

Я с трудом узнал капельмейстера.

— Разрешите мне, — сказал Александров приглушенно, — собрать эти крошки хлеба. У меня — курочки, курочки есть просят.

— Собирайте, — разрешил я. И Александров умелым движением повернул мешковину и вывел все хлебные крошки себе на ладонь. С ладони он пересыпал крошки в какую-то торбочку, мешочек, но торбочка была невелика.

Я спрятал мешковину, нож и пошел домой. Выбираясь из коридоров школы, я увидел Александрова, вытряхивавшего крошки себе в рот.

Третий раз судьба нас свела еще через два года.

Начался НЭП, и в родной город к отцу явилась его родная дочь. Не более не менее как балетная артистка. И не просто балетная артистка, а сама Мария д'Арто — таков был псевдоним этой популярной, прогрессивной, вошедшей в историю русского балета артистки, подруги Веры Комиссаржевской. Мария д'Арто провела в Вологде несколько концертов, но сразу было видно, что балерина отяжелела,

что ей не поспеть за бойкой чечеткой местной Синей блузы. И Мария д'Арто покинула Вологду.

Александров, ее старик-отец, посещал, разумеется, все концерты своей любимицы, да еще артистки такой прогрессивной славы. Александров, одетый в лучший костюм, чуть припахивающий нафталином, сидел в первом ряду, ловя каждое движение знаменитости.

Следующим важным рубежом на моем пути к музам был урок рисования. Рисование началось не с начала года, как пение, и я был уже предупрежден дома, что я — не Рембрандт и не Репин, спросу с меня в школе будет немного, и интереса к моим многочисленным рисункам — зверькам, человечкам, домам — похожим больше на иконы в церкви, чем на произведения настоящего художника, обладающего знанием перспективы — также. Однако я должен очень внимательно вести себя на уроках рисования — ибо учитель Трапицын, преподававший две науки — чистописание и рисование — родной брат нашего архиерея Александра Трапицына и даже живет в архиерейском доме — в соседстве с нами.

Рыжий, пухлый господин Трапицын, по-видимому, и от своего брата получил указание, как действовать с дерзкими школьниками, потому что никакого интереса моя личность в нем не вызвала. Я срисовывал какие-то кубы, цилиндры, сдавал контрольные работы, получал отметки — пятерки, не ниже четверок, ибо главное тут оценивалось — внимание, добросовестность выполнения задания — и все.

С революцией Трапицын исчез из нашего города, из нашей гимназии, из нашего класса, из моей жизни — навсегда.

Уроки рисования не были для меня ни скучными, ни веселыми, не хуже и не лучше математики и русского языка. И пятерки за них я получал точно таким же способом, как и за решение арифметических задач. Но первого и единственного урока пения я не забыл никогда.

После архиерейского брата, носившего фамилию Трапицына, а не Тряпицына, как легко запоминалось. Перебирая в уме звуковую основу фамилии — первые уроки геометрии мы уже получили, — я подумал, что наш учитель рисования — не от "тряпки", что было бы слишком для архиерейского брата, а от трапеции. Трапицын от трапеции. В этом было нечто благородное, достойное. Но исчез с революцией Трапицын, и я перестал думать о правильном произнесении его фамилии, тем более, что имя у учителя рисования было вполне подходящее — "Аполлон", Аполлон Александрович!

Я уже забыл думать о своем живописном образовании, продолжал рисовать свои домики, как вдруг году в восемнадцатом, что ли, было объявлено, что наш класс примет новый учитель рисования Александр Николаевич Россет — прямой родственник фрейлины Смирновой, приятельницы Пушкина и Гоголя, калужской губернаторши.

Но о калужской губернаторше мы еще ничего тогда не знали и встретили нового учителя со страстным интересом. Казалось, что именно он написал "Евгения Онегина" и "Пиковую даму".

Россет нас не разочаровал. Одетый в черный отутюженный костюм, в сверкающей накрахмаленной рубашке, с платочком, сложенным каким-то необыкновенным углом, — новый преподаватель был сама учтивость.

Сейчас же все ученики засели за рисунки — поставлен был для всех не то цилиндр, не то куб — белый, на подставке, и каждый на ватмане или просто на белой бумаге попытался уловить душу этого белого куба.

Все еще рассчитывая, что пламя Микель-Анджело наверняка горит в моей душе, я не жалея времени изображал белый куб со всей строгостью того небольшого реалистического багажа, который был внесен в мою душу Аполлоном Трапицыным, а также и всем уровнем и вкусом тогдашнего русского искусства.

Все мои тридцать соседей сделали то же самое.

Россет собрал рисунки и сел за учительский стол.

— Ну, сказал он, — смешивая и перекладывая наши листочки, тасуя вверх-вниз, как колоду карт, — художников среди вас — нет. И я не ставлю задачу сделать из вас художников. Художниками надо родиться. А вот графически грамотными людьми можно стать, и этому я вас научу.

К сожалению, Россет исчез из Вологды после первого же урока. Но еще долго мне чудился в классе запах его отличных духов, его крахмальная сорочка.

Живописную культуру мне пришлось уже пройти позже — в музее западной живописи на Кропоткинской, — на выставках тогдашних — их было немало. Третьяковка меня угнетала с первых дней. В живопись передвижников я никогда не верил. Репин возбуждал чувства недоброжелательности, а "Богатыри" Васнецова я считал плохой картиной.

Врубель? Но про деятельность Стасова с Горьким против Врубеля на Нижегородской выставке мне, к сожалению, не было известно. Врубеля в моей жизни было слишком мало, и очень медленно я ощутил и принял его силу.

Рисунки мои, мои тетрадки и показать было некому. Проклятый куб закрывал дорогу моим домикам, медведям и лисам в моем саду.

После приговора Россета надежды отца на мою живописную одаренность, которую, по его мнению, мог скрыть архиерейский брат Трапицын, умышленно мстя отцу, — развеялись в дым.

XIX

Музыка? Отсутствие слуха убило все надежды, все перспективы. Музыка исключалась из моего будущего,

Театр? — Хорошо понимая силу первого впечатления, именно отец настоял на том, чтобы первое мое посещение

театра было сделано по его выбору. Этим спектаклем был "Эрнани" Виктора Гюго. Двадцатилетнего короля Карлоса играл шестидесятилетний Россов, знаменитый русский гастролер — пророк — просветитель России, фанатичный романтик, сеявший только разумное, доброе, вечное, игравший только Шекспира, Шиллера, Гюго.

Я был ошеломлен, раздавлен театром и соединился с ним навсегда.

На следующий вечер я смотрел "Разбойников" Шиллера, где тот же Россов играл Франца Моора.

Потом, после Гюго, Шиллера с Россовым, я смотрел все, что хотел, — уже без отцовского контроля, ибо указав верный по его мнению путь, он считал свою задачу выполненной — таков был один из его главных педагогических приемов, даже принципов.

В двадцать втором году я встретил отца в театре, вернее не в театре, а в Народном Доме, том самом, где он выступил с речью по поводу убийства Герценштейна, и который в 1906 году был сожжен черносотенцами дотла и на общественные пожертвования восстановлен. Там и сейчас Городской театр. А в мое время театр был на площади близ гимназии, где я учился. Вот в этом-то Народном Доме, который назывался Дом Революции, я и сам выступал на сцене не один год — только без слов. В этом-то театре я и увидел отца в зрительном зале. Шла пьеса Потапенко "Ряса" — и отец, как ни плохо он видел, пришел в штатском костюме в театр.

В школе был драматический кружок, где я проводил много времени — наша школьная компания росла именно в этом кружке. Я играл в пьесах, суфлировал, ходил на занятия, даже в городском театре работал статистом — но все это без большой радости и энтузиазма.

Участие в драмкружке давало возможность не бывать дома вечерами на законном основании, без всяких докладов и разрешений.

Деятельность этого кружка описана мною в очерке "Некрасовский вечер в клубе "Красная Звезда".

К тому же у нас был кружок литературно-драматический, и я именно литературной силой-то и был — издавал рукописный журнал, делал доклады о поэтах, читал стихи на вечерах.

В двадцать первом году доползла до Вологды книга — один экземпляр на целый город — однотомник Некрасова под редакцией Корнея Чуковского с ГИЗ'овской маркой. Книга была отпечатана очень бледно — смутный текст на плохой оберточной бумаге — но это был новый, невиданный некрасовский текст стихов и поэм, заученных нами ранее в ином, в куцем варианте.

Прибытие книги вызвало энтузиазм в городе, и в нашем школьном литературно-драматическом кружке было решено кое-чем дополнить программу вечера памяти Некрасова, чье столетие со дня рождения отмечалось в нынешнем году. Мы уже давно готовили "Мороз—Красный нос", "Железную дорогу", "Размышления у парадного подъезда" и наш руководитель давно уже вел борьбу с потоком шипящих "Рыцаря на час". Все это было выбрано и заучено еще нашими старшими братьями и старшими сестрами. Дорога для нас была давно проторена.

Но теперь был новый текст. Стихотворение, посвященное Комиссарову исчезло, а вместо точек в "Княгине Трубецкой" появились слова. .

Решили инсценировать разговор с губернатором, который затеяла княгиня в Иркутске. После долгих проб, сцен зависти, ревности и огорчений решили, что губернатором будет Лев Шидловский, пятнадцатилетний сын председателя местной талмуд-торы, врача-психиатра городской психиатрической лечебницы.

Его уверенный басок напоминал отцовское покрикивание на городских психов в сумасшедшем доме — отец

работал психиатром в загородной психиатрической лечебнице много лет, там жил и отдыхал.

Губернатор в тогдашнем нашем понимании должен был иметь начальственный басок — да и для наших зрителей только такой губернатор произвел бы впечатление реализма и жизненной правды.

Княгиней Грубецкой была Лида Перова, бывшая гимназистка из Мариинской женской гимназии, сущая школьница женской трудовой школы — в Вологде долго не вводили совместного обучения. Пятнадцатилетняя Лида была единственная старая сотрудница нашего литературного кружка. Главной задачей Лиды было донести до слушателей этот новый, найденный и опубликованный Чуковским некрасовский текст.

Сцена на станции нас не смущала: стол из фойе, две табуретки: коробка есть, чтоб чиркать спичкой и зажечь спектакль. Но княгиня! Меха! Соболя! Правдой был бы реальный тулуп ямщицкий, сибирский — только в такую овчину купали княгиню в ее долгой морозной скачке. Но нам казалось тулуп — это не то, это не для княгинь. У самой же Лиды дома никаких драгоценных мехов не нашлось.

Выручила учительница немецкого языка Елизавета Николаевна. Она только что вышла замуж и "справила" себе к свадьбе беличью муфту и беличью шапку — да не ушанку, а цилиндром. Елизавета Николаевна, узнав про наши меховые затруднения, дала на время муфту и шапку княгине Грубецкой. Вопрос аппликации для княгини был решен.

А губернатор? Как быть с мундиром губернатора? С любым военным мундиром... Года четыре назад это в Вологде не было проблемой. Но через четыре года после революции? Затруднение казалось непреодолимым. В конце концов кто-то принес адмиральскую двууголку, новенькую, с атласной подкладкой, пахнущую нафталином.

— А вы меня не угробите, ребята?

Ребята не угробили. Потом эта двууголка так и осталась у нас — никто не хотел брать обратно.

Литературный вечер должен был состоять из двух частей. "Княгиня Трубецкая" была вторым, заключительным отделением. А первым — был концерт.

От ликующих, праздноболтающих,
Обагривших руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

.....
Пряма дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские,
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты —
.....

Концерт был большой. По два стихотворения никто не читал — в кружке было более ста школьников. Я тоже читал в том концерте стихотворение, но не Некрасова, а Игоря Северянина, из "Поэзо-антракта". Стихотворение называлось "Сеятель" и было посвящено и адресовано Некрасову. В этом стихотворении не было никаких ананасов в шампанском.

А еще учкомом школы я был уполномочен попросить у заведующего школой две керосиновых лампы "молнии" по 30 "линий", как это тогда называлось, ибо в клубе "Красная Звезда" электрического света не было. Эти две керосиновые лампы со стеклянным резервуаром и высокими ламповыми стеклами были величайшей драгоценностью для заведующего школой, ибо училась наша школа второй ступени, наша ЕТШ №6, где придется, часто по вечерам, в темноте, и керосиновая лампа была единственным светочем, ведущим нас к высотам знания. Школу гоняли из помещения в помещение — лазареты, госпитали, военные курсы вытесняли нашу школу из одного помещения в другое: без керосиновой лампы в нашем пути нечего было делать. Лампы

берегли. Керосин был тоже ценен, но тут не в керосине было дело. Лампы были большие и осветить сцену должны были, по нашему мнению, отлично. Переговоры об этих лампах велись с заведующим школой давно, но Леонид Петрович отказывал наотрез, — это были последние две лампы, я пошел к заведующему школой последний раз.

— Хорошо, — сказал Леонид Петрович. — Даю, Шаламов, под вашу личную ответственность. И если что-нибудь...

— Я даю вам слово, что ничего не случится. Я буду сам наблюдать.

На том мы и порешили. Почему понадобились эти лампы на сцену: ведь мы уже ставили вечера Пушкина в Доме Революции, Лермонтова — в городском театре. Вечер Островского — в бывшей гимназии — но там в дни спектаклей работал свет. А Некрасовский вечер должен был быть в новом, свежесрубленном клубе 6-й армии "Красная Звезда". Электричество туда не было еще проведено. Наш Некрасовский спектакль и начинал жизнь этого клуба. Этот дом, этот клуб и сейчас показывают туристам, если городской музей закрыт по случаю выходного дня и туристов возят на автобусе по улицам Вологды глазеть на образцы деревянного зодчества — северную архитектуру в дереве — теплую, живую, в отличие от знаменитого, но мертвого камня южных стран.

У строителей северных храмов, деревянных церквушек был большой перерыв — война, революция, гражданская война. Накопленное уменье мастеров, религиозный пыл зодчих деревянных храмов нашел выход в яростном возведении клуба "Красная Звезда". Это было первое здание после революции, где методом топора и пилы было что сказать, доказать и показать. Укороченные церкви, превращенные в кинотеатры, в народные дома, мало что говорили прохожим о северном зодчестве, о деревянной архитектуре.

Клуб был выстроен на пустыре, на углу двух улиц, к четырехлетию Октябрьской революции. Достраивался клуб

в спешке, в фойе валялись балки, не ставшие балками. Еще занавес ходил туго, останавливался когда хотел, и нарочно поставленные люди раздвигали и задегивали занавес изнутри — дополнительное зрелище сатирическое и лирическое. В клубе пахло еловой смолой, а не табачным дымом.

Программа Некрасовского вечера должна была начинаться с выхода бирючей с ручными трещотками перед закрытым занавесом. Трещотки мы брали в городском театре, где за контрамарки служил статистом один из наших школьников.

Трещотки эти и бирючи остались на Некрасовский вечер от Лермонтовского. При инсценировке "Песни про купца Калашникова" там эти трещотки и бирючи среди всяких "гой-еси" были весьма к месту.

К месту бирючи были и в Пушкинском спектакле, привлекая внимание к перипетиям сюжета "Бориса Годунова". Было ясно, что и в Некрасовском вечере обойтись без бирючей нельзя.

Оба эти мальчика-бирюча были нашими же школьниками. Они привыкли к трещоткам и трещотки привыкли к ним. Трещотки иногда заедало, но наши бирючи действовали весьма уверенно. Бирючи выходили на авансцену, в зал давался свет и только после бирючиного пролога выключался. Выключался свет и в "Доме Революции" — том самом Пушкинском Доме, который был сожжен черносотенцами в 1906 году. Выключался в Городском театре — крошечном деревянном здании, где в зрительном зале были при партере ложи, бельэтаж и галерка.

В клубе "Красная Звезда" сцена была крошечная, а света не было — только две школьные керосиновые лампы на полу. Слышно было, как тяжело дышит, как переполняется зал. Никто не снимал полушубки — в зале было морозно. Махорочное облако плыло над залом, где сидели вразвалку в левом углу бойкие парни в ярко-синих или ярко-красных

галифе — в которых отплясывали они на всех вологодских вечерах падеспани и падекатры, падепатинеры, матчиши и вальсы и краковяки. На этот Некрасовский вечер висела рукописная афиша — "Танцы до утра! Фейерверк!" Танцы эти шли под трехрядку — один из бирючей и был гармонистом.

Долго не налаживался занавес, долго в последний раз устанавливалась очередность участвующих в концерте. Наконец школьник-сценарист — тогда помощники режиссера назывались сценаристами — толкнул бирючей в спину. Пошли. Бирючи выходили с разных сторон занавеса. Пространство до края рампы было так мало, что, отодвинув ногой занавес назад, зацепился и разбил лампу. Лампа вспыхнула и сейчас же была потушена. В щель занавеса я еще увидел искаженное от злобы лицо Капранова. У другой лампы стоял караульный, чтобы при первой тревоге погасить свою лампу. Так он и сделал, и бирючи остались в полной темноте. Это были ребята опытные. Зная, что в зале света не будет, по давно заученному счету — раз! два! три! — бирючи запустили трещотки.

Тут же в зале раздался винтовочный выстрел, второй, слова короткой команды. Бирючи наши смолкли. Как-то удалось зажечь оставшуюся лампу и развести занавес.

В зрительном зале была уже построена круговая оборона, — почти у всех оказались винтовки, наганы; вперед, замаскированный скамейками, был выкачен пулемет — Максим. Пулеметчик уже заложил ленту.

Немногие штатские — в том числе и наш заведующий школой Капранов, были положены на пол, в сторону.

Два красноармейца латыша пробежали по сцене, под сценой, выскочили во двор, пробежали вокруг дома, вернулись, доложили командиру — и Некрасовский вечер продолжался. Скамейки были расставлены по местам, и заведующий школой с его штатским спутником были усажены на почетные места.

Все номера обоих отделений прошли с огромным успехом, воодушевлявшим и артистов и зрителей, воодушевление все росло от стихотворения к стихотворению. Княгиня Трубецкая произвела фурор.

Злосчастный бирюч приблизил пальцы к ладам трехрядки и падеспани и падекатры зашуршали по новенькому полу. Красноармейцы, шаркая валенками, крутились в бесконечных падеспанях.

Усталый бирюч ждал сигнала на вальс, ведь вальс — последний танец, такова традиция вологодских вечеров, а вальса все не было. Но прошел и вальс, и толпа высыпалась на ступени клуба — и исчезла в безлунной зимней ночи.

— А где же фейерверк? Фейерверк!

Я вытащил пять военных ракет, пять картонных трубок с военного склада. Это тоже, как губернаторская треуголка, как беличья муфта княгини Трубецкой, было [собственностью] школы. Я сорвал крышку, обнажил запал. Зеленая парабола взлетела в вологодское небо.

Уже ушедшие домой красноармейцы кинулись к клубу обратно, пулеметчик тащил пулемет, а губвоенком еще не ушел.

— Опять он зеленое пускает, товарищ комиссар!

— Это мы пускаем, — сказал военком. И повернулся ко мне: — Больше не надо фейерверка.

На другой день меня потребовали к заведующему школой. Но что я мог сделать? Да и он — что он мог сделать? Футляр лампе смастерили цинковый вместо стеклянного, но вот стекла лампового не было уже никогда. Консервная банка была для этого приспособлена, а когда достали новое ламповое стекло в 30 линий, пришел НЭП, а я — кончил школу.

В коридоре у директора ждал меня незнакомый человек.

— Я главный режиссер театра, — сказал он, — и хотел бы с вами поговорить.

— Пожалуйста, — сказал я с облегчением.

— Я был вчера на вашем вечере в клубе "Красная Звезда". Лежал там среди стружек рядом с Леонидом Петровичем. Вы читали там Северянина, да?

— Да, Северянина, — сказал я, все еще не понимая, в чем дело.

— Вы не могли бы прочесть это самое стихотворение сегодня в Доме Революции? Я ставлю там Некрасовский вечер. Вечер кончается апофеозом. Нечто вроде живых картин. Но эти живые картины — мертвы. Их надо оживить. Поставить стихотворную точку. Вот это самое ваше стихотворение. Так как? Согласны прочесть в конце вечера то, что вы читали вчера?

— Хорошо, — сказал я. — Только...

— Без всяких только. Вы приходите, оба отделения — у нас тоже два отделения, как и у вас, — посмотрите из зала, а после занавеса приходите за кулисы и читайте стихи во время апофеоза... Я махну вам рукой, когда начинать.

В тот же вечер я прошел в театр и поднялся в антракте на сцену. Главный режиссер ждал меня.

— Вот тут и встаньте и лицом к залу прочтите. Здесь холодно, вы шубы не снимайте, а шапку, пожалуй, снимите, в руке ее, что ли, держите. — Главный режиссер удалился, и ко мне сейчас же подступил человек, вышедший из-за кулис.

— А чем кончается ваше стихотворение?

— Как чем кончается?

— Какая последняя фраза?

Сразу я не мог вспомнить последней фразы и стал читать стихотворение с самого начала.

— Нет, избавьте, — остановил меня новый мой знакомый. — Только последнюю фразу вашего стихотворения.

— Это не мое стихотворение.

— А чье же?

– Игоря Северянина.

– Игоря Северянина? Некрасову? Это – оскорбление. Игорь Северянин – не поэт. Это – футурист. Это футурист. Ну – какая последняя фраза этой бездарности?

– Слава тебе.

– Слава тебе! Слава тебе, слава тебе, – энергично повторил мой новый знакомый, – а Виктор Николаевич, режиссер, говорит, что малыш... сочинил... Все обман!

Главный режиссер мчался мне на выручку.

– Это машинист сцены, – объяснил он мне. Ему надо знать, когда закрывать занавес, на какой фразе. Ни Северянин, ни Некрасов его не интересуют.

– Слава тебе – вот эта фраза, – сказал я.

В апофеозе участвовали загримированные актеры городского театра, размещенные на сцене по принципу физкультурпаузы в спортивном параде, или так, как размещал фотограф группу своих клиентов – чтобы все попали в объектив, а на почетном месте оказался самый главный из клиентов. Самым знатным в том Некрасовском апофеозе был сам Некрасов. Некрасовым был загримирован актер вологодского театра с заношенной до предела театральной фамилией Ленский.

В городе не было второго экземпляра нового издания Некрасова под редакцией Чуковского – поэтому о "Княгине Трубецкой" не могло быть и речи. В концертной части жали на "Княгиню Волконскую", на декламацию и мелодекламацию, на лирическое сопрано и меццо-сопрано, на басы и тенора – все это имелось в вологодской труппе. Впрочем, иркутский губернатор участвовал в апофеозе, напялив на лоб двухуголку похуже, чем была на нашем вечере.

Был дан свет на сцену, и я, держа шапку в руках, не расстегивая ватного пальто, прочел стихи Северянина. Легко пробежал занавес, отгородивший искусство от жизни.

Отец был великий охотник и рыболов. Отцовская охота — это не какая-нибудь тургеневская прогулка из "Записок охотника".

Наши уезжали на двух лодках далеко от города, в охотничьи места за десятки километров. Уплывали на несколько дней и возвращались только нагрузив лодки почти по борта добычей. Тут же на нашем дворе начинался дележ этой добычи — всем участникам поровну, только одну часть маме за лодку.

Брат делил разбросанную гору уток в разные стороны, и довольная мать следила за ловкими движениями сына.

Похудевшие собаки, выполнившие свой долг, летали тут же. Хрюкали свиньи, блеяли козы, кудахтали куры, тыкались в клетке кролики.

Кошек у нас никогда не было. Кошек отец не терпел, из-за независимости характера.

Конечно, работая городским священником, отец не стрелял сам. В Вологде главным распорядителем охот был мой брат Сергей — средний брат в нашей семье.

На рыбных же ловлях, допустимых для священнического звания, отец всем командовал сам.

По вопросам охотничьего оружия отец мог дать любую консультацию.

В Америке же, где отец прожил двенадцать лет, он по всей вероятности пользовался и охотничьим оружием, а не только неводом. Да и я сам видел в материнском архиве фото отца, сидящего в байдарке по-алеутски, с централкой в руках.

Отец сам, собственными руками, научил снимать шкуры с убитых животных чулком и с разрезом по животу — отец знал анатомию любого животного. Научил меня выделывать шкуры козы и кроличьи по народному способу — обыкновенным тестом.

Только убивать ни животных, ни птиц он меня не мог научить — это главная причина, поспорившая меня с отцом.

Карт, домино, лото в доме вовсе не было. Шашки отец считал глупой игрой, а шахматы признавал, хотя сам играть не умел. Когда я научился играть в шахматы, мне было разрешено ходить в городской шахматный кружок, в том самом "Золотом якорь", где жил и творил свой суд Кедров. Там я задерживался допоздна.

Можно было ходить в библиотеку, в театр, на репетиции в школьный кружок школьных спектаклей, на школьные собрания. Можно было также пользоваться лодкой, плавать, ходить за грибами, ловить рыбу, играть в городки и лапту. Городошником я был хорошим, но немного уступавшим своему знаменитому брату Сергею.

Когда я увлекся футболом, да еще в школьной команде стал играть, это отцу не понравилось. Посмотрев один из календарных матчей городских команд, отец сообщил:

— Смотрел я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди матери дров наколи! — Но отучить меня от футбола отцу не удалось.

Отец верил в личный пример. Всякое отрицание в его душевном строе выглядело, как символ веры немедленно подтвержденный. Отцовский символ веры последовательней и неуклонней самого символа веры из молитвенного, ибо тот, как казалось мне, — литература, а отцовский пример — вот он.

Отцовская проповедь в обществе трезвости — а этих обществ он открывал немало — была вовсе не пустые слова.

Отец не пил, не курил, и никто из его гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в самые большие праздники, так называемые двенадесятые, даже на Пасху и Рождество, в нашем доме не подавалось никаких алкогольных напитков — ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива — ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь.

Это страстное воздержание имело и одну чисто личную причину. Отец отца — мой дед, деревенский священник где-то в Устьсысольской глуши, был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открыла. И дед умер — замерз на крыльце собственной избы.

Мне это рассказывала мать. Отец не считал нужным в своих действиях с детьми ссылаться на какие-то примеры из жизни, ни из книг — это все равно. Единственный пример, на который он ссылался, — это была ссылка на лучших людей, но я хорошо знал, что вслед за упоминанием о лучших людях России последуют щипки и толчки.

Хоть ты тысячу раз почетный гость, но если ты хочешь курить — то вылезай из-за стола и иди на кухню или на улицу, если лето. Кухня была мамино царство с более либеральным принципом жизненного устройства.

Исключений не делалось ни для кого.

Естественно, что при таких традициях, да еще трактуемых как символ веры, гостей у нас было очень мало. Даже в большие праздники приходили братья матери, и то ненадолго. Своих родственников в городе у отца не было.

Результат этого догматического воспитания подтвержден личным примером.

Все три брата и две сестры — нас в семье было пятеро — курили все. Я сам курю с восьми лет. Дома, конечно, не курил никто, никогда. Я первый раз закурил дома на похоронах отца.

Потянулся за пачкой в карман и рефлексорным движением встал, чтобы выйти на кухню. Мать рукой удержала меня на месте.

— Кури здесь.

Я сел и закурил.

После смерти отца стала курить и мама, понемножку целый год курила, а потом умерла.

Конечно, при таких жестоких правилах воспитания любая брань не только изгонялась и осуждалась. Даже за слово "черт" следовал немедленный щипок, а то и построже что-нибудь. Никто из детей, разумеется, и не думал о ругани, любой, — это было вытравлено в нашей семье. И сам отец, конечно, никогда не ругался: ни сволочь, ни черт — вообще никаких бранных слов не было в его лексиконе.

Но однажды я услышал случайно, как отец бранится про себя, и этот единственный случай запомнил на всю жизнь.

Я и он в темном сарае поили коз. Козы — животные чрезвычайно дисциплинированные. Перепутать порядок кормления просто невозможно. Та, которой дано не в очередь, принятую в этой группе коз и установленную самими козами, — не возьмет ни за что свою еду. Услышав матерную брань отца, я подумал, что какая-нибудь Тонька или Машка кинулась не в очередь хватать хлебово. Но оказалось, что матерная брань отца относится не к козам, а к Финляндии, которая только что отделилась. По этому воспоминанию я могу рассчитать и месяц — вроде декабря 1917 года.

XXI

Актера из меня не вышло, актерской карьеры я явно сделать не мог, но в литературный кружок ходил не один год.

У нас этим кружком заведовала преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина.

У отца был принцип: показать один раз — и талант обнаружится сам от первого прикосновения родственного — это относилось и к искусству, и к науке — важно было столкнуть два родственных начала, высечь Прометеев огонь.

Ни к живописи, ни к музыке, ни к театру способностей у меня не оказалось, оставались одни стихи, но о стихах отец и думать не хотел.

Я пишу стихи с детства, и это неприятно удивляло отца, не подозревавшего, что настоящая поэзия начинается очень поздно.

Ломая дурную привычку, отец подарил мне к пятилетию — узнав от матери, что я читаю с трех лет, типографским образом изготовленную, тисненую золотыми буквами толстую тетрадку "Дневник Варлама Шаламова". Вся страсть отца к паблисити была в этом порядке. Отец произнес небольшую речь, общий смысл которой был таков: вот, дескать, тебе дневник — мы будем совершать героические поступки, а ты их описывать. Но, конечно, в прозе: факты там всякие, делать вклейки. Словом, ни одной страницы в этом дневнике так и не было записано.

Сестра Галя, заглянувшая в дневник, подивилась моему упорству. С того момента, как сестра заглянула в дневник, он был для меня осквернен.

Я никогда в жизни не вел дневника. Жизнь, правда, сложилась так, что и возможности вести дневник не было. Моим дневником были стихи. Это я отчетливо чувствовал, ибо по поводу этого подарка я сочинил стихи о том, как мне подарили дневник.

В самом этом факте уже был ответ на отцовский вопрос. Но отец этого не почувствовал.

Когда я поступил в гимназию и стал учиться на пятерки, это не удалило меня от стихописания. Одно из стихотворений — военных, разумеется, — было показано отцу, но отец перенес решение в официальную организацию — велел показать преподавателю русского языка Ширяеву.

Я помню и сейчас одну из строк, разумеется, беспощадно слабых:

Вот кавалерия неслась,
в столбах пыли взвиваясь.
Невдалеке гром пушек грохотал,
Свистели ядра, в воздухе взрываясь,

И страшный взрыв людей

там убивал.

Я ждал, разумеется, одобрительного приговора, но приговор Ширяева был неодобрительный.

Более всего меня поразило конец этого стихотворения, сделанный тут же.

По-русски надо писать:

Вот в столбах пыли взвываясь,
Кавалерия неслась.

В этом роде отвергая начисто пушкинскую инверсию и даже более элементарные виды.

Я со страхом увидел и услышал, что наш преподаватель литературы, как и мой отец, вовсе не понимает, не "слышит" стихов.

Отзыв Ширяева — мне было тогда восемь лет, разумеется, упрочил мнение отца о моем графоманстве.

Через все мое детство, через все мои вечера проходит крик отца:

- Брось читать!
- Положи книгу!
- Туши свет!

Лампа у нас была одна, но речь тут шла не о лампе, а свете в его самом высоком значении. По мысли отца, далеко не всякая книга полезна, а беллетристика и стихи определенно вредное чтение.

Мать заботилась о керосине в смысле физического света, отец же разумел свет духовный.

Ссоры отца с архиереями — притча во языцех в городе — все дальше толкали нашу семью в сторону дружбы с политическими ссыльными.

В доме бывали эсэры, меньшевики из ссыльных. Семья Виноградова, где мне разрешали было бывать, — как раз семья ссыльного меньшевика, обосновавшегося в Вологде.

Алексей Михайлович Виноградов был присяжный поверенный.

В это время началась Первая мировая война. Война изменила положение отца в глазах и светского, и духовного начальства, точно так же, как изменила положение всех ссыльных "оборонцев" от Керенского до Плеханова и Мартова, от Кропоткина до Лопатина, от Савинкова до Николая Морозова.

Во время войны власть сближается с народом — это свидетельство истории. Не было исключения и в войну 1914 года.

Ораторская энергия отца, которому было тогда всего 46 лет, нашла выход в бешеной прямо-таки военной пропаганде. Отец, конечно, немедленно попросился на фронт, в действующую армию, на "театр военных действий", как это официально тогда называлось — но, получив отказ из-за многосемейности, сейчас же послал старшего сына, моего брата Валерия, в офицерское училище, сорвав ему высшее образование, хотя брат никакого патриотизма не обнаруживал.

Неудачу армии Самсонова отец переживал, как свой личный позор.

Вступление немцев в Бельгию, Реймс и бомбардировка Роттердама — все это соответствующим образом комментировалось отцом и публично — во время служб, панихид, и дома — за чайным столом. Отец каждый день читал две газеты — "Русские ведомости" и "Вологодский листок" — о чем-о чем, а о немецких зверствах семья наша была осведомлена более чем достаточно.

После первых Самсоновских успехов в Восточной Пруссии в Вологду стали прибывать первые партии немецких военнопленных.

Немецкие пленные ходили по городу свободно, что постоянно вызывало раздражение отца и соответствующие комментарии.

Я думаю сейчас, что драка брата Сергея с немцем-военнопленным имела подпочву — электризирующее руководство отца, которого брат боготворил. Слушая разговоры за чайным столом, он счел своим долгом внести личный вклад в эту проблему.

XXII

— Ты что, не ходишь в церковь, что ли...

— Хожу. Я с мамой хожу.

— А прислуживать?

Тут речь шла об обязанности мирян помогать в церкви: выносить коврики, хоругви, все, что не особенно священо. Это делается подростками из детей духовенства, так укрепляется вера, изгоняется свободомыслие...

— Прислуживать не хожу.

— Завтра сходи. Будет служба архиерейская. Вообще все эти праздники ходи. Потом можешь опять не ходить.

— Хорошо.

На следующий день я пошел в церковь, надел стихарь и вместе с другими подростками выносил орлецы, держал и носил рипиды. К концу службы в тесном и темном алтаре я подошел вслед за всеми "рипидчиками" к приезжему архиепископу-старичку, сидевшему на глубоком мягком стуле-табурете. Кто-то из темноты сказал над моей головой — не местный ли архиерей, который стоял тут же.

— А это вот отца Тихона сын.

— А, очень, очень хорошо. Подойди сюда, мальчик.

Я подошел под благословение, поцеловал теплую сухую руку.

— Вот тебе. — Архиепископ вынул из кармана серебряный полтинник.

Я поблагодарил, взял и отошел.

На следующий день в нашей столовой я неожиданно увидел у отца того самого приезжего гостя, но уже в мантии и клобуке.

Я подошел под благословение и архиепископ задержал мою руку.

— Это — мой младший.

— Мы уже знакомы, — сказал монах.

— Старший — на войне, — неторопливо объяснил отец.

Архиепископ сказал, поглаживая мою руку:

— Я видел вашу службу, отец Тихон. Она очень хороша и прихожанам очень нравится. Только это — не православие.

— Почему же?

— Да уж так. Не православие, да и все.

— Ну, иди, — отец чуть толкнул меня к двери, и, уходя, я услышал спокойный, насмешливый голос отца:

— Так почему же это не православие, ваше высокопреосвященство?

Приезжий гость скоро уехал, удовлетворенный объяснениями отца. Архиепископская карета загромычала, вернулся отец, и я вслед за ним вошел в комнату. Отец подошел к окну, провожая взглядом карету. Легкая усмешка, очень хорошо знакомая мне, скривила его губы.

— Скажи Сергею, чтобы сети на завтра брали две, обе... Те новые, что я купил в Нижнем, будем пробовать. Быстро.

XXIII

Незадолго до революции в Вологодскую губернию была выслана знаменитая анархистка-миллионерша, баронесса Дес-Фонтейнес.

Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в фонд какой-нибудь революционной партии России — как это часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность

использовать свои колоссальные деньги в высшей степени эффективным и оригинальным способом.

Ее люди скупили все бумажные фабрики Севера, все леса Вологодского, Архангельского, Великоустюжского, Тотьменского, Сольвычегодского края и приступили к постройке бумажных фабрик в этих краях.

Старый фабрикант Печаткин, имевший бумажную фабрику на тряпье на Сухоне, продал ее баронессе. Баронесса расширила Печаткино, а рядом с ним выстроила фабрику "Сокол" — под таким названием эта фабрика на Сухоне работает и сейчас. Это название было дано баронессой.

Такому фабриканту бумаги, как Сумкин, пришлось уступить свои торговые связи баронессе.

В тридцати верстах от Вологды баронесса возвела эту фабрику "Сокол" по самой модной модели. Иностранцы инженеры, англичане, бельгийцы, получавшие бешеные деньги, составляли технический штаб баронессы.

Там был восьмичасовой рабочий день. Поселок для семей рабочих был выстроен по самому прогрессивному плану. Зарботки, и на фабрике и на лесозаготовках, принадлежащих тоже баронессе, были гораздо выше, чем в соседних селах, районах, городах, вплоть до Вологды, где и жила сама баронесса.

Я учился с ее сыном, сын — мой сверстник, только он учился в реальном училище, а я — в гимназии.

Вокруг этих фабрик в деревнях Вологодской губернии росли школы — преподавание там велось по лучшим заграничным образцам.

Все ее дела развернулись наглядно в огромное культурное начинание.

Для рабочих была выстроена и церковь — новая церковь, деревянная, как резная игрушка, поставленная на снег среди высоченных елей, и сама деревянная, еловая, резная. Вот в эту-то церковь и приглашен был фабричным священ-

ником мой отец в 1917 году, после Февральской революции ушедший со службы в соборе.

В 1917 году, после резкого конфликта с духовным начальством, отец ушел из собора вовсе. На этот раз он не был лишен сана, ему не было запрещено священнослужение, только городской собор ему пришлось оставить. Отец принял предложение ссыльной миллионерши, анархистки, баронессы Дес-Фонтайнес, и перешел фабричным священником на ее бумажную фабрику.

Отец перевез туда книжный шкаф красного дерева, письменный стол белого дуба и переехал сам.

Дети, сестра Наташа и я, жили у него там поочередно.

Галоши – великая вещь в русской провинции с ее вековой липкой грязью, глинистой грязью, облизывающей сапоги, распутицей, разрушающей обувь.

В 1956 году в Озерках, после Колымы, после многих лет сухой, горной, устойчивой почвы, несмотря на всю ее гибельность, – я видел, как родители носят детей в школу на руках круглое лето, чавкая резиновыми сапогами, и только в крайнюю жару трещины и провалы поселка превращаются в гигантские впадины, похожие на калифорнийские каньоны, и становятся доступны пешеходу.

Вологда любого, в том числе и семнадцатого года, была такой же опасной, грязной, засасывающей, как и среднерусские тверские Озерки. Жить в городе нальзя было без галош, которые в Вологде почему-то назывались калоши и в устной, и в письменной транскрипции, и только в Москве я с трудом отучил себя от вологодского произношения сего важного предмета.

Существовало даже выражение "поповские галоши" – глухие, с пряжками – того самого фасона, что в Москве пятидесятых годов был модой. Потом уже пошли галоши на молнии.

Все городское священство носило как бы форменные, глубокие теплые галоши на застежке. Но отец не носил

поповских галош, он подчеркнуто шлепал по грязи в светских, коротких, блестящих галошах.

В раннем детстве я гляделся в отцовские галоши, как в зеркало. Светлые, блестящие, новенькие отцовские галоши всегда стояли в передней. Разумеется, дети подрастали, им покупались галоши такие же, новые.

Свою же эту столь стеснительную обувь я ненавидел. Но правила вологодские требовали галош.

Поэтому одно из воспоминаний связано, сцеплено с сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тротуары и особенно ярко играющим на двух парах галош — отцовских и моих.

XXIV

Февральская революция начинается для меня с блеска галош.

Февральская революция была встречена в городе восторженно. В ясное голубое утро началась в Вологде манифестация — так это тогда называлось.

Отец взял меня с собой, твердя: "Ты должен запомнить этот день навсегда", — и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской Думе. Туда же со всех концов города текли ряды людей с красными бантами, снявши шапки, взявшись за руки. Все пели. Пели разные песни — каждая колонна свою, но главными были: "Смело, товарищи, в ногу", "Отречемся от старого мира", "Мы жертвою пали" и "Вставай, проклятьем заклейменный".

Было слышно и видно, что текст любой песни еще не заучен всеми на память. Песня рвалась и продолжалась снова. В семьях города и в городских школах учили эти песни наизусть, переписывая друг у друга слова.

Но уже через несколько дней в Вологду был привезен из Петрограда выпущенный каким-то энергичным издателем

целый песенник революционных песен. Песенник на газетной бумаге, в белой обложке, с краткой надписью "Гимны свободы". Там были тексты всех песен революции, вплоть до анархического гимна "Черное знамя", "Вставайте же, братья, под громы ударов..." Открывался сборник "Марсельезой" и "Отречемся от старого мира".

Амфитеатровская "Дубинушка" и "Утес Стеньки Разина" Навроцкого заняли свое законное популярное место. Но во время манифестации пели неуверенно — завидуя тем, кто по счастливой случайности или семейным обстоятельствам знал все слова.

Полиции не было — движением управляла новая молодая вологодская милиция с красными повязками на рукавах.

Поющая толпа плыла к городской Думе, где на балконе стояли люди, которых я не знал, но городу они были известны.

Мы с отцом пошли к нашей гимназии. Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшекласник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда.

Наконец, это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега. Мы двинулись дальше, а отец твердил что-то о великой минуте России.

Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов.

Для России рубеж свержения самодержавия был — может быть внешне более значительным, более ярким, чем дальнейшие события.

Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был — верилось — конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество

было расколото на две половины — черную и красную. И история времени также — до и после.

Февральская революция была в Вологде праздником, событием чрезвычайным. В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было приложено множество сил.

Февральская революция была народной революцией, стихийной революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова.

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге — их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны.

Для того, чтобы раскатать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование.

Героизм должен быть безымянным. История не сохранила имен людей, взорвавших дачу Столыпина* — а ведь чтобы искать такие имена, открыть архивы — нужна революция.

Люди эти, столько раз менявшие фамилии — что нет никаких надежд напасть на их след, как, впрочем, они хотели и сами.

Разве мы подробно знаем о Тетерке? О Крахмальниковой? Об Ошаниной? О Климовой?

Ошанина и Климова в лагере русских женщин более значительны, чем прославленная Перовская или некрасовские героини.

Февральская революция была точкой приближения абсолютно всех общественных сил, от трибуны Государст-

*) История сохранила имена террористов (анархисты-максималисты), взорвавших дачу Столыпина. Руководитель группы Михаил Соколов ("Медведь") был казнен. В террористическом акте участвовала упомянутая ниже Наташа Климова. Ей посвящен роман Михаила Осоргина "Свидетель истории".

венной Думы до террористического подполья, и до анархистских кружков.

И, конечно, в первых рядах жертв, борцов шла русская интеллигенция. В этой борьбе было всякому место: профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы. Это было моральным кодексом времени встречать репрессии царского правительства с мужеством. Эти репрессии более всего касались партии эсэров, которая неожиданно стала партией миллионов.

Тут нет никакого чуда — эсэров в 1917 году было более миллиона. Февральская революция в значительной степени была сделана руками эсэров и они получили большинство мандатов в Учредительное собрание.

Я не собираюсь здесь делать никаких подсчетов, хотя этот подсчет давно есть.

Для меня речь идет о детских впечатлениях, о юношеском восприятии событий, отраженных в нашей семье.

Отец мой был оборонец самого патриотического толка — как Кропоткин, Лопатин, Савинков, Горький, Сологуб, Бальмонт, Григорий Петров, Александр Введенский, Николай Морозов. Та борьба с царизмом, в которую вступил отец на своем месте, привела его в ряды освободительного движения еще при возвращении из Америки и свела с культурным священством — вроде Булгакова и Флоренского, при Временном Правительстве показалась отцу недостаточно новой.

Силу освобождения России отец увидел в эсэрах — в Питириме Сорокине, земляке и любимом герое отца — по теории живых Будд.

Известны статья Ленина "Ценные признания Питирима Сорокина" и статья, написанная Сорокиным после беседы с Лениным в Бутырской тюрьме. Эта-то беседа и сохранила

жизнь Сорокину, арестованному в Великом Устюге ЧК, и дала Ленину возможность написать "Ценные признания Питирима Сорокина".

Питирим Сорокин – будущий Гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь.

В Учредительное собрание отец голосовал по списку эсэров. В семнадцатом году, после свержения самодержавия, естественен поворот влево на несколько десятков градусов – от 90 и до 180°.

Оценки, переоценки, заскоки и недоскоки.

Вот этот поворот и нуждается в жертвах, в живой крови.

Уже недостаточна была деятельность культуризма, воскресных школ, и тут отец разошелся со своими всегдашними советниками – Флоренским и Булгаковым.

Отец считал, что сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами ни вызывался, обязывает не тормозить его движения – в церкви, в воскресной школе, а наоборот ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение.

Конечно, все это теперешние мои соображения.

Для "полевевшего" отца – слишком ясной была беспомощность в физическом смысле кадетской партии; отец стал искать себе новых кумиров.

XXV

Вне всякой связи с отцом, а наоборот, как бы в пику его вкусам, как бы вызовом недостаточной левизне его взглядов, в наш дом, в мою душу хлынул поток новых книг. Их немало было издано в 1917-18 годах, на оберточной бумаге с бледной типографской краской. Хлынули книги, которых раньше не бывало.

"Андрей Кожухов", "Штундист Павел Руденко" — Кравчинского, "Взаимная помощь как фактор эволюции", "Записки революционера" Кропоткина, "Овод" Войнич, сборники "Былое", и особенно книги автора, который оказал сильнейшее влияние на формирование и укрепление моего главного жизненного принципа, соответствия слова и дела, — определили мою судьбу на много лет вперед.

Этим автором был Борис Викторович Савинков, романист Ропшин, особенно его книги "Конь бледный" и "То, чего не было".

Тогда говорили очень много, каждый был оратором, митинговал, мобилизовал; каждый, во всяком случае, испытывал себя на ораторской трибуне.

Даже поговорка существовала: "При Романовых мы триста лет молчали, работали. Теперь будем триста лет болтать и ничего не делать".

Но митинги, устная агитация, ораторские баталии — хотя и с немедленным вызовом на фронт против Колчака "Бей буржуя" — то была лишь наиболее парадная часть этого перелома, этого землетрясения.

К этому же времени все типографии России на все запасы бумаги, до последнего фунта типографской краски печатали огромное количество книг — еще невиданных, неслыханных российским читателем. Какая-то брешь была пробита в 1905 году, теперь в эту брешь направлялся поток — не только листовок, что было и в военное время средством борьбы регулярным и действенным, классическим средством, а поток книг, брошюр самых разнообразных политических направлений — анархисты Бакунин и Кропоткин, эсэры Савинков и Чернов, Степняк и Вера Фигнер, Войнич "Овод". Ропшинский роман вдруг приобрел популярность и ответственность катехизиса, учебника жизни, не говоря уже об "Оводе" Войнич.

"Спящий пробуждается" — мирного Уэллса толковали как взрыв, как лозунг.

”Записки цирюльника” Джерманетто* разрывались на части рядом с романом о Спартаке. Этих книг оказалось не так мало.

Я не знаю, включил ли Керенский себе в заслугу эти многочисленные издания, которые вышли к душе читателя.

Не ”Антон Кречет”, не Нат Пинкертон, не Пещеру Лейхтвейса — требовал новый читатель, а то, что было вокруг него и где он сам мог найти сразу, в день, в час свое самое активное место.

Соответствие слова и дела этих авторов определило мою судьбу на много лет вперед.

Герцен и Чернышевский, явившиеся в магазинном издании, много теряли в своей привлекательности, не были столь жизненно важными — кислорода в них было маловато, то есть попросту таланта.

Книгу Ропшина ”То, чего не было” всю помню почти что на память. Знаю все почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю почему, я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это — книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекательно, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.

Этот фокус документальной литературы равно мной обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление

*) В. Шаламов не мог читать ”Записки цирюльника” Джованни Джерманетто после Февральской революции: они были опубликованы в Москве в 1929 г.

государства и выдержать это давление. Тут вопрос не о программе эзров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, которые создают такие книги.

Запойное мое чтение продолжалось, но любимый автор уже был определен.

Первая за триста лет свободная манифестация продолжалась.

Как всегда, кто-то толкнул, вырвал из рук кумачовый лозунг, разорвал ряды людей, пытавшихся спеться на ходу, хотя бы на "Вы жертвою пали"...

— Звездани его! — кричал вологодским глаголом молодой милиционер с красным бантом своему товарищу про нарушителя, прорвавшего ряды.

У праздника ведь был свой план, диспозиция.

Отец неодобрительно покачал головой и вывел меня в сторону от перебранки.

— Толпа — это толпа, — прошептал отец.

Эти слова я вспомнил позднее, когда читал дневник комиссара Временного правительства Панкратова, народовольца и бывшего шлиссельбуржца. Панкратов караулил царя в Тобольске, был комиссаром Временного правительства при царе, когда Временное правительство уже не существовало. Панкратов запретил царю и его семье молиться в соборе, хотя собор был через площадь в несколько десятков метров.

Когда царь попросил объяснений и заявил протест, Панкратов, сам шлиссельбуржец, сам испытывавший немало расправ русского православного народа с врагами царя, ответил так:

— Да, это я запретил. Мой приказ. Поймите, гражданин Романов, толпа — есть толпа.

И Николай Романов понял и больше не просил разрешить ходить в собор, а молился в домашней церкви.

Было тут что-то общее не в ситуации, а в самом существе дела.

Если бы я пробежал на улице этот день один, а не прошагал, держась за руку отца, я больше бы почувствовал, больше бы понял, настолько был тонок мой нервный механизм, всегда напряженный. Но отец и не думал о таком варианте. Он считал, что если он сам, своей рукой будет водить меня по праздничной России — я крепче запомню все, что увижу, запомню во всяком случае и его собственное участие в моем приобщении к "великим вопросам России".

Во всяком случае, кроме глухого недоброжелательства к отцу и недовольства этим путешествием — память моя ничего не сохранила.

XXVI

Мне все равно было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы.

Мне все время казалось, что я чего-то не сделал — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера.

Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары.

Даже в первой моей семье дело кончилось крахом — двадцатью двумя годами тюрьмы заплатил я при столкновении интересов семьи и государства. Государство топтало любые семьи, дробило их на мелкие. Можно было что-то склеить, если бы моя семья опиралась на семью, не прибегая к помощи государства.

Увы, в нашей семье при всех обстоятельствах делался выбор всегда в пользу государства, хотя это никого и никогда не спасало.

Но сейчас не время, да и не место, вспоминать что-либо кроме Вологды — все мое прошлое было еще впереди.

Лангауэр, учившийся в Брюсселе пожарник, развлекал гостей за табльдотом, который держала его жена.

XXVII

Я был очередной жертвой неистощимого дружелюбия брюссельского брандмейстера. Со мной брандмейстер немедленно заключил пари, что встанет с кровати, где спит в белье, и наденет всю свою амуницию в одну минуту по секундомеру. Я — человек, еще далекий от прикладной физкультуры, заинтересовался опытом. Действительно, надев брюки и всунув ноги в стоящие наготове сапоги, брандмейстер уже надел плащ и каску, когда еще не исполнилось и минуты.

Что там Россия! Там пожары!

По окончании моего кратковременного визита отец объявил, что, перед моим отъездом, мне — десятилетнему мальчугану — покажут всю фабрику, ни мало ни много.

Хотя меня и не очень интересовало — я согласился, чтобы не огорчать отца.

Бумажная фабрика, бумажная машина — это зрелище очень эффективное: ведь на одном конце заталкивают в дробилку бревно, а на другом — машина сама вяжет готовую бумагу в тетради.

Мне подарили кучу тетрадей в желтой обложке. Я осмотрел все производство. Инженер, или кто-то из начальства, сопровождал меня — именно меня, а не отца — в этом был весь фокус; сам отец эту фабрику уже, конечно, знал.

На этой-то фабрике для отца строили новую церковь. Он участвовал в ее освящении и был первым священником там. Отец выбирал иконы для иконостаса и алтаря, советовал в росписях храма. Я был у него на одной из таких служб зимой 1917-18 года.

Крошечная церковь стояла в густом еловом лесу. Снег был густой, и это еще увеличивало игрушечность новенькой церкви.

Люди сходились туда тропками с высокими бортами, почти коридорами снежными. На отцовских службах присутствовали все иностранные инженеры — американцы, англичане, служащие баронессы. Им тоже весьма импонировало и то, что отец владеет английским языком, и вся его биография, и то, что он служит на русском языке, а не на славянском.

К сожалению, эта кратковременная удача быстро была прервана рукой судьбы. Баронесса уехала за границу, церковь закрыли. Фабрику конфисковали.

XXVIII

Зимой восемнадцатого года, возвращаясь с Сокола в Вологду, отец заболел крупозным воспалением легких.

Поезда тогда ходили плохо. Из-за поднявшейся метели отец опоздал на поезд на каком-то полустанке. Следующий шел утром. Ждать отец не стал и пошел пешком по шпалам в город с чемоданом сквозь жестокую метель. Дойти-то он дошел, но продуло его насквозь, и он заболел крупозным воспалением легких с последующим плевритом — это были до-флеминговские времена. Ничего, кроме тепла и собственного сердца, человек не мог противопоставить болезни. Началось воспаление легких, плеврит, но он все же поднялся, хотя в это время по городу уже шли постоянные обыски и больного каждую ночь поднимали с кровати, вытаскивали и ощупывали самым жестоким образом.

Церковные дела моего отца были в высшей степени связаны борьбой обновленческого движения против патриарха Тихона. Службы в церкви отцу не нашлось.

Выздоровев после воспаления легких, отец поступил заведующим книжным магазином "Жизнь и Знание" — принадлежащим той самой кооперации, чьим организатором и членом правления был отец с незапамятных времен, и несколько недель работал там — это не только давало карточки на хлеб, но было гораздо бóльшим в жизни отца.

Но после газетной заметки в "Известиях Вологодского исполкома", заменивших "Вологодский листок", "Поп в книжном магазине" — отец был отстранен от работы.

Зрение ухудшалось, и отец съездил в Москву показать свои глаукомные глаза специалистам получше вологодского доктора Пирожкова. Но Пирожков знал не хуже Страхова или Головина, что глаукому нельзя лечить, что это — безнадежная мечта.

При этой болезни жестокие боли, почти не дающие спать. Средство покончить с болями — перерезать зрительный нерв. Это средство и предлагали Страхов и Головин — тогдашние светила офтальмологии. Был бы погашен правый глаз, где зрение было потеряно давно, а на левом была бы произведена операция, сохранившая в случае удачи на какой-то срок зрение, но в каком-то крошечном проценте, который не дал бы пользоваться очками. Но и в этом случае успех операции был проблематичен.

Отец, взвесив это все, — отказался от операции и решил ждать, терпеть до полной слепоты, которая и наступила раньше, чем расчеты отца и глазных "светил" (глазное светило — недурной каламбур!). Ускорила беда смертью сына, гибелью Сергея.

То, что отец решил терпеть страшные, прямо-таки адские боли в глазах, чему я был тысячу раз свидетель, объяснялось его детской верой в науку — отец рисовал себе картины, что вот его сын, глазной хирург, сделает ему операцию, воскрешающую зрение.

Возможно, что это материнская фантазия, а отец — язычник и реалист — ни во что подобное не верил. Во всяком

случае терпел он эти глаукоматозные боли до самого конца, до смерти.

Письмо Страхова ко мне — я переписывался с врачами, которые лечили отца, — пронизано было мотивом — наука не всесильна, не всесильна. Максимуму, принципу "все или ничего" в науке нет места. Но сами эти письма были, в сущности, такой же беллетристикой, как и все фантазии о всемогуществе науки.

Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции, и что с другой стороны было давно предсказано, угадано, но от этих предсказаний и пророчеств отец отвернулся, ибо он не был поклонником ни Достоевского, ни Леонтьева. Этим пророчествам отец боялся поверить — все его прошлое бунтовало в его крови.

Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию.

Слепому добраться до любой новой истины нелегко.

На церковную службу отец вернулся уже слепым — в момент взрыва, подъема так называемого обновленческого движения. Вот тут-то отец и познакомился с Александром Введенским, знаменитым вождем радикального крыла обновленческого движения, встречаясь с ним неоднократно лично.

Об этом обновленческом движении бытует мнение, что вот были борцы с патриархом Тихоном, затем патриарха Тихона сменил патриарх Сергей, и Сергей ликвидировал обновленческий раскол, приняв покаяние всех обновленческих епископов, кроме Введенского.

На самом деле все было гораздо сложнее и гораздо проще.

В обновленческом движении — новом церковном движении в России — имелись другие истоки, судьбы и пути, чем

пути реализации философских исканий русского священства. Отец принял самое горячее участие. Именно это движение несло дорогую сердцу отца реформу — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством. Но самый главный свой вклад отец внес в тогдашнюю борьбу за веру — в антирелигиозные диспуты, которые с благословения или разрешения новой власти проходили во всех городах в открытом ораторском состязании. Вот тут-то отец и принимал самое горячее участие.

Опытный полемист, хороший оратор — все были ораторами в наш ораторский век — отец не пропустил ни одного такого диспута. Их было очень много и в школах, и в мастерских, и в рабочих клубах, и в городском театре.

Слепого я водил его на все эти диспуты, и по сигналу председателя — подводил к кафедре, или столу, а после выступления отводил на место. Случалось, отец ошибался в направлении — в волнении, в жестикуляции, поворачивался лицом не к залу, и тогда я подходил, поправлял его позицию. Успех его речей был в Вологде велик, да в самом деле он был хороший оратор, опытный полемист. Речь его была абсолютно светская, со множеством светских примеров, что, конечно, производило хорошее впечатление.

Я помню его замечание на речь анархиста Герца, отбывающего ссылку в Вологде, царскую еще...

Герц повторил вольтеровский каламбур о том, что верующий лавочник обманет меньше, чем неверующий. — "Если это так, — говорил отец, — одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии, если вас не будут обманывать в лавках".

Второе хорошее замечание запомнилось по поводу моднейшего тогда лозунга "Религия — опиум для народа", вывешенного на всех фронтонах театров, на всех площадях страны.

— Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия — опиум. Лекарство. Но кто из вас, — следует обводящий зал жест, — может сказать, что нравственно здоров.

Знаменитого столичного оратора двадцатых годов митрополита Александра Введенского я слышал много в антирелигиозных диспутах, которых тогда было очень много. Введенский разъезжал с лекциями по России, вербуя сторонников в обновленческую церковь, да и в Москве его проповеди в Храме Христа Спасителя или диспут с Луначарским в театре — собирали неисчислимые толпы.

Александр Введенский из всех ораторов был самым выдающимся, самым ярким, значительно превосходя Троцкого, Бухарина, Луначарского, Зиновьева, Керенского — все были тогда ораторами.

Человек колоссальной эрудиции, исключительной памяти, цитировавший во время речи на десятке языков философию, социологию всех лагерей и наук — для того, чтобы процитировав, разбить и сразить его острейшим орудием своей сверкающей мысли.

Его службы в Храме Христа Спасителя собирали тысячи людей.

Дважды на него совершалось покушение, дважды ему разбивали лоб камнями как антихристу какие-то черносотенные старушки. Дважды Введенский лежал в больнице после этих покушений, и в то время, когда я его слушал на диспуте — носил черную повязку на лбу.

Смугловатый, худощавый, высокий, в черной рясе, с крестом и панагией — знаками епископского достоинства, черноволосый, коротко подстриженный, Введенский производил сильнейшее впечатление еще до того, как ему удавалось, прервав овации, начать речь, разинуть рот. Оратор абсолютно светский, длиннейшие речи Введенский произносил без бумажки, без тени конспекта, записи какой-то, и это тоже производило впечатление.

Радикальное крыло православной Церкви, которое возглавлял Введенский, называлось "Союзом древле-апостоль-

ской церкви". Несмотря на некоторую грузность термина, уступавшего популярнейшему "Живая церковь", что из-за своего удобства в запоминании вошло в историю, хотя "Союз древле-апостольской церкви", возглавляемый Введенским, был гораздо многочисленнее, чем "Живая церковь" с Красницким и его группой.

Литературность, звучность формулы в истории много значит. Но в "Союзе древле-апостольской церкви", сокращенно, что тоже было данью моде, данью увлечению к всевозможным растущим как грибы "аббревиатурам" тех лет, была главная мысль Введенского, жить по заветам древних христиан, самих апостолов.

Героическая пробоина во лбу митрополита свидетельствовала, прикрытая черной повязкой, что это не пустые слова.

В практической жизни, в каноническом плане Введенский действовал весьма решительно, ставя все точки над "i".

Подобно тому, как мой отец освятил рубенсовскую репродукцию головы Христа, и перед ней молился дома, митрополит Введенский, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Любой епископ может выдвигать в святые любого человека, нужно только пропеть определенное число молитв определенного чина людьми в определенном порядке.*

Ничего неканонического в поступке Введенского не было. Его святительская уверенность производила сильное впечатление.

Проповедь Введенского о Блоке, сказанная в Храме Христа, распространялась с энтузиазмом самиздата в наши дни.

Митрополит Введенский был не из церковных кругов. Сын директора гимназии в Витебске и сам учитель гимназии, он принял сан в 1912 году. Уже во время войны он выдвинулся своим ораторским талантом и деятельностью, весьма

*) Это не точно. Практика и правила канонизации святых не столь формально-упрощенные.

заметной. В 1917 году Введенский участвовал как делегат в Демократическом совещании в Москве, произнес там речь в поддержку Временного правительства, а перед наступлением 18-го июня поехал на фронт, где, по примеру Керенского, пытался вдохнуть боевой дух в русские войска.

После Поместного собора 1917-18 года, избравшего патриарха Тихона руководителем русской Церкви, Введенский возглавлял борьбу церковной оппозиции, резко выступая против призыва патриарха Тихона не сдавать церковные ценности для помощи голодающим.* Введенский был в числе пяти священников, добившихся у патриарха Тихона отказа от патриаршей власти, отказа от руководства русской Церковью.

Именно в руки Введенского патриарх Тихон передал письменное заявление о том, что Тихон отказывается управлять русской Церковью и поручает управление ярославскому митрополиту Агафангелу. В это же время патриарх Тихон был арестован и начался его процесс. Арестован был митрополит Агафангел, принявший церковную власть. Русская Церковь осталась без управления. Вот тут-то Введенский вместе с другими и организовал свое обновленческое Высшее Церковное управление.

Начался обновленческий раскол, продолжавшийся более двадцати лет и оконченный в 1946 году со смертью митрополита Александра Введенского.

Обновленческое движение — яркая страница истории русской, ибо патриарх Сергей, решительно боровшийся с обновленчеством, взял на вооружение именно идеи Введенского. **

*) Патриарх Тихон противился только конфискации предметов богослужения.

***) Это можно сказать только о "лояльности" по отношению к Советской власти. Все остальные обновленческие идеи были митр. Сергием отброшены.

Суть вопроса победы Сергия была в том, что он (а все заявления Сергия в правительство написаны в тюрьме) казался Сталину более надежным представителем русской Церкви, более типичным, более авторитетным, чем модернист Введенский, соратник Керенского, постигающий тайны Блока. Само образование Введенского было помехой на его пути к переговорам с властью, хотя именно Введенский провозгласил, что коммунизм — это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. Луначарскому это суждение казалось тонким, Ленину — смешным, Сталину — опасным. Поэтому правительство поддержало более ему знакомые формулы патриарха Сергия.

Проповедь Сергия — за советскую власть — по радио, решавшая пути Церкви и русских православных мирян, решила судьбу и Сергия, и Введенского.

Тут-то и было покончено с обновленчеством.

Этой известной проповедью* и начал свой победоносный путь Сергей митрополит, но еще не патриарх (патриархом Сергей стал в 1943 году, что имеет свои подробности). Когда Сталин выразил согласие на предложение Сергия о поддержке правительства по радио — именно Сергию доверилась эта речь. Поспелов вел эти переговоры: Сергей — Сталин. Сталин сказал: надо получить текст речи и можно разрешить. С этим явился Поспелов к Сергию. Сергей наотрез отказался.

— Я произношу проповеди, говорю без подготовки всю жизнь. Я никогда не выступал и не буду выступать по бумажке. Если товарищ Сталин хочет, чтобы я выступил — пусть разрешает без подписанного текста.

С этим ответом Поспелов приехал к Сталину, и было решено рискнуть.

*) Никакой речи по радио митр. Сергей не произносил. Автор вероятно имеет в виду его декларацию 1937 г. или окружное послание 1941 г., в первые дни войны.

Митрополит Сергей говорил два часа.

Доверие власти здесь было ему оказано, а им — оправдано.

В 1943 году Сергей стал патриархом, разгромил обновленцев, взяв их программу, а в 1944 году умер, передав бразды правления Алексею.

Но в 1923 году все было еще впереди.

Введенский был создателем собственной оригинальной концепции в христологии, отличающейся, скажем, от Ренана или Штрауса.

Христос в понимании Введенского — земной революционер невиданного масштаба.

Толстовскую концепцию о непротавлении злу Введенский высмеивал многократно и жестоко. Напоминал о том, что евангельскому Христу более подходит формула "Не мир, но меч", а не "Не противься злому насилием". Именно насилие применял Христос, изгоняя торгующих из храма.

В работах всех христологов концепция Введенского обязательно излагается.

Обновленческое движение погибло из-за своего донкихотства. У обновленцев было запрещено брать плату за требы — это было одним из основных принципов. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала. И тихоновцы, и сергиевцы как раз брали плату — на том стояли и быстро разбогатели.*

Идея союза с передовой наукой, борьба со всякой магией, колдовством, понимание обрядности в свете критического разума — тоже было идеей Введенского.

В обновленческом расколе было много личного, много мелкой политики, много от пресловутой "конкретной ситуации".

*) "Сергиевцы" на самом деле были удушены налогами, если не истреблены. "Разбогатело" духовенство после 1945 г.

Но тогда, сорок лет назад, Введенский казался разрушителем, лже-Христом, то есть Антихристом. Так его черносотенцы и называли.

Удивительным образом договоренность правительства с вождями Церкви велась как бы в тюрьме. Именно из тюрьмы писал свои послания Тихон Белавин, его местоблюститель Агафангел. Не изменил этой русской традиции и митрополит Сергий: его проект об организации русской Церкви прислан из Бутырской тюрьмы в 1927 году.

Введенский же в тюрьме не сидел. Он проводил в 1925 году III-ий Поместный собор в Москве и сам был докладчиком по всем важнейшим вопросам Церкви.

По просьбе отца я ходил на открытие собора в 1925 году — чтобы не упустить, пользуясь словарем отца, великий день России.

Введенский был очень эффектен на фоне монашеских либеральных клобуков в самом темном подвале Троицкого подворья на Самотеке — месте баталии за высшую церковную власть.

На самом соборе обновленческое движение не захватило, к моему удивлению, никаких новых рубежей.

XXX

Среди всевозможнейших диспутов, лекций, ораторских сражений, конгрессов, совещаний, когда дня не хватало студенту, чтобы пробежать по всем этим чудесам, когда каждый день мы стояли перед выбором — куда же пойти? Кого же послушать — анархиста Иуду Гроссмана, Розанова или обер-прокурора Синода Львова? Или Бухарина, или Кони, — чью проповедь выслушать? Куда пойти — в подпольный анархический кружок или к Мейерхольду, в буденовке размахивающему пистолетом? В Кривоколенный

к Воровскому или в Колонный зал к Троцкому? Послушать лекцию в РАНИОН'е о Фурье или выслушать Густава Инара — участника Парижской Коммуны.

Горький был прогнан за границу, и не было известно, вернется ли он в Россию.

Но из самых высоких ораторских зрелищ того ораторского века были безусловно диспуты Луначарский — Введенский. Их было много: "Бог ли Христос?", "Христианство и коммунизм" и т.п.

Попасть на эти диспуты было очень трудно, не потому что они были платные, — это ограждение пройти было совершенно невозможно даже таким специалистам, как я и мой ближайший друг, студент того же курса и факультета МГУ, что и я.

У нас сорвались все попытки хоть какой-нибудь бумажкой заручиться. Оставался день до диспута, и я решился на крайнюю меру. Шапиро пришла мысль пойти и попросить контролершу, но не у Луначарского и его многочисленного окружения, а у Введенского. В этом есть что-то — комсомолец МГУ у архиепископа — обязательно даст, — рассуждал Шапиро. Но кто пойдет? Кто будет говорить? И что?

Но у меня же сверкнул в голове план, и мы помчались в Троицкое подворье отыскивать Священный Синод, а там получить домашний адрес архиепископа.

По узким, заставленным шкафами коридорам мы добрались до канцелярии Святейшего Синода. Одна единственная комната с единственным столом. Сидевший за столом человек встал и сказал, что архиепископа сейчас нет.

— А где он живет?

— Да тут и живет, — сказал канцелярист, — вот тут за дверью. Что ему сказать, если он дома? Кто его спрашивает?

— Скажите, что его спрашивает сын священника Шаламова из Вологды.

Закрытая дверь сейчас же распахнулась, и Введенский вошел в комнату, — очевидно стоял за дверью и слышал наш разговор. Дома он был в вельветовом пиджаке и полосатых каких-то брюках.

Я изложил нашу просьбу.

— Охотно, — сказал Введенский, сел к столу и, выдвинув ящик, взял тонкий листок с типографским адресом и написал: на два лица, А.В.

— С удовольствием выполню просьбу, — сказал Введенский. — Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей.

Я, разумеется, написал об этом отцу и доставил ему большое удовлетворение.

Обрадованные, с заветной контрамаркой, не зная только, где ее сохранить ночь, — мы помчались на ближайший митинг во втором Госцирке — на Садовой-Триумфальной, — от Самотеки, с Троицкого подворья было рукой подать. Вернее — "ногой", ибо трамвай и по Садовой ходил, кольцевой "Б", увешанный людьми, да еще ползущий мимо базара всех времен и народов, Сухаревки, которая в те времена действовала еще по всем правилам и во всей силе.

Мы добрались до Госцирка, где был митинг — протест по поводу поражения английской забастовки — даже Триумфальная площадь была заполнена народом, и оттуда доносился резкий высокий тенор председателя Коминтерна Зиновьева — "Продали! Предали!" — осуждая английских профвождей, предавших английскую стачку.

Митинг закончился только с темнотой, и мы пешком добрались: Шапиро к родным на Арбат, а я в Черкасский — в общежитие.

Мы спали спокойно, обладая чудодейственными контрамарками с инициалами А.В. Это было силой, которая дала бы нам возможность не только пройти все контроли, но и разгромить театр, если понадобится.

Но все же, оценивая ситуацию, мы собрались на диспут на два часа раньше. Все улицы, все подходы вокруг театра Зимина — к Дмитровке (теперь там театр Оперетты), были заполнены народом.

Диспут "Бог ли Христос?" — Луначарский—Введенский. Быстро работая локтями, мы добрались до первого контроля и попали во внутреннюю цепь — добровольцев, которые сами вызвались на эту работу, чтобы послушать двух знаменитых ораторов.

Мы постарались проникнуть в партер и это нам удалось. Хотя, конечно, все время пришлось стоять. Но это не имело никакого значения.

Все понимали отчетливо, и сам Введенский в первую очередь, что он выступает впервые за время существования советской власти открыто в защиту веры, поднимает перчатку, брошенную властью атеизма, безверия — как государственной религии тогдашней России. Что если раньше сражение с попами велось в ЧК или в приемных народных комиссаров, то из церквей христианская религия впервые выходит сегодня на открытое сражение с властью в одном из главных вопросов идеологии.

Атеистические власти обязательно должны были бросить перчатку вызова на такой диспут — герольды ЧК должны были обязательно проскакать по всем площадям России, вызывая Бога на турнир словесный — другие турниры были выиграны властью давно. Крайне было важно для церковников, для верующих мирян, чтобы представителем религии — религии, не Церкви — был достаточно талантливый, достаточно яркий и достойный человек.

Таким человеком и был Александр Введенский, священник в войну, протоиерей в революцию, епископ после церковного переворота, архиепископ во время диспута, митрополит в будущем, — а в самые последние годы имевший чин "митрополита-благовестника", то есть митрополита-пророка, предвещателя побед.

Александр Введенский вышел в черной рясе, перекрещенной цепями креста и панагии, черноволосый, смуглый, горбоносый. Вышел и сел за длинный красный стол без всякой застилки, где в президиуме уже сидели лица разного революционного калибра — от народовольца вроде Николая Морозова, до социал-демократов вроде Льва Дейча.

Сел Луначарский в весьма пристойном пиджаке, перебирая пачку конспектов пальцами — собирал и раскидывал стопку листов. Ему надо было начинать доклад, а время уже истекло. Взрывы аплодисментов, требующих начала, — существует такой вид аплодисментов — становились все чаще.

Наконец Луначарский встал и пошел к трибуне, разложил на ней листки и начал свой доклад — одно из тех пятидесяти выступлений Луначарского, которые довелось слушать мне, тогдашнему студенту.

Луначарский был нашим любимцем. Это был культурный, образованный человек, чуть-чуть злоупотреблявший этой культурой, почему недруги из нашей же среды звали его "краснобай". Эта интеллигентность, мягкость Луначарского в то время не нравилась не только скептикам из студенческой среды.

Я сам слышал своими ушами доклад Ярославского в Театре Революции к десятилетию Октября, где позиция Луначарского во время штурма Кремля вызывала всякое поношение твердокаменного Емельяна в наглухо застегнутой кожаной куртке, произносившего с авансцены Театра Революции свои осуждающие слова по адресу Луначарского. Ярославский в Октябре в Москве был комиссаром ЦК при Москве.

Но мы не разделяли столь сурового "ригориума". Нам Луначарский казался барином, присоединившимся к революции барином, который, если его держать в узде и надеть ошейник, может принести большую пользу тому же Ярославскому.

В годы революции и гражданской войны Луначарский не играл в Москве большой роли и тем более не поправлял, не учил Ленина, как замечено и некоторыми документальными картинками последнего времени ("Шестое июля").

При Луначарском в Наркомпросе всегда был комиссар, — сначала Крупская, потом Яковлева, потом Вышинский. Любой вольт и загиб наркома можно было вовремя удержать.

Хозяевами Москвы тогда были Сапронов, Бухарин, Преображенский, — все РАНИОН'овцы,* строившие новую жизнь. Практика Луначарского насчет Маяковского и Большого театра неоднократно осуждалась Лениным.

Все это нам было известно. Известно было и то, что Луначарский вступил в партию лишь около 1917 года — в числе межрайонцев на Шестом съезде партии.

Его сражения с Лениным после 1908 года — Каприйская школа и школа Болоньи — где командовали Богданов, Луначарский и Горький, и откуда был вышиблен Ленин — так и вторично в Париже школа Лонжюмо — без Луначарского, вопреки Луначарскому.

Все это было нам хорошо известно.

Не питая никакого политического доверия к Луначарскому — тогдашняя молодежь просто любила его послушать.

С авторитетом Троцкого речь Луначарского ни в какое сравнение не могла идти, ни в политическом, ни тем более в литературном плане.

Троцкий — оратор более талантливый, чем краснойбай Луначарский. Троцкий — оратор стиля особого, где сначала делался вывод, а потом он доказывался.

Луначарский же принадлежал к классической школе — накопление аргументов и — логический вывод.

*) РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук — кузница марксистских кадров.

В этом накоплении аргументов Луначарский пользовался весьма широким привлечением фактов, имен и идей — подчас даже составляющих трудность — как увлечение Луначарского — свой только что рассказанный факт, случай с темой его речи, доклада, от которых он отступил довольно далеко.

Было особенным удовольствием следить за путаными извилами мысли наркома, предвидеть их, угадывать или не угадывать — и с восторгом или осуждением принимать какой-то логический сюрприз, логический парадокс.

Но Луначарский обычно благополучно выбирался из всех сетей, из всех неводов, которые сам себе расставлял, и срывал гром аплодисментов.

Иначе говорил Троцкий. У Троцкого не было лишней фразы, не служащей главной мысли, которая уже высказана. Тебе предстояло лишь подсчитывать бесконечные аргументы — одетые, конечно, всегда в оригинальную, блестящую даже одежду.

Студенческие скептики даже говорили, что из-за этого постоянного блеска слушатель, зритель, отвлекался от глубины суждений Троцкого, которые были бы яснее при более простом, более шаблонном изложении дела.

Диспуты Луначарский—Введенский были построены тогда по весьма примитивной схеме. Докладчик-Луначарский — один час. Содокладчик-Введенский — сорок пять минут. Прения — по десять минут всем записавшимся. В случаях интереса выступлений время добавлялось при немедленном голосовании в зале.

После прений — заключительное слово содокладчика — двадцать минут, а заключительное слово докладчика — тридцать минут.

Регламент таких диспутов был построен самым, конечно, выгоднейшим способом для первого докладчика. Но это никого не обижало. На Введенского надеялись, и он всякий раз оправдывал все надежды.

Луначарский начал свой доклад — полемика эта издана, привлекая большое количество самых современных мнений, а также и самых древних — от Эпикура до Вольтера. Доклад звучал в высшей степени убедительно.

Оставалось только послушать — какие стрелы, какие камни бросит из своей пращи Давид-Введенский в правительственного Голиафа-Луначарского.

Введенский встал, поправил на груди крест и резкими шагами вышел прямо к трибуне, где еще собирал свои листки Луначарский. В руках Введенского не было ни одной бу-мажки.

Введенский встал. В возникшей тишине отчетливо и громко выговорил: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь", — перекрестился и, сделав шаг вперед, начал говорить, быстро овладевая вниманием зала.

Утверждение Луначарского было смелым образом подвергнуто открытой иронической критике. Камня на камне не осталось от положений Луначарского. В том диспуте "Бог ли Христос?" Луначарский слишком много напирал на противоречия в Евангелии, опровергая историчность Христа.

Именно в этом видел Введенский подтверждение историчности "Апостола" — не стенографичности. Это свидетельствуется. Возьмем любой протокол суда — шесть свидетелей казни описывают объект и только.

В историчности Христа Введенский не хотел сомневаться, не только потому, что в этом не сомневался Ренан.

Словом, каждое положение, которое мы с такой надеждой принимали, было высмеяно открыто в самой блестящей форме.

Введенский цитировал на память целые страницы из трудов философов, отцов Церкви, современных политических деятелей на десяти языках, современных и древних, что, разумеется, производило сильное впечатление. Тут же делался

перевод (все без всяких бумажек) и следовала критика на русском языке.

Луначарский был явно побежден.

Прения были довольно серыми. Выступали какие-то митрополиты и просто любители, чьи речи я не запомнил.

Я ждал второго выступления Введенского.

Второе выступление Введенского было посвящено разбору аргументации оппонентов в прениях, всякий раз с тем же уничижительным блеском.

”Избави нас Бог от таких друзей, — сказал по поводу какого-то сомнительного комплимента Введенский, — а с врагами мы и сами справимся”.

Понимая, что после заключительного слова будет выступать Луначарский, Введенский не преминул пустить наиболее эффектную стрелу в качестве предварительного удара, заранее предвидя, что последует в возражение. Эта стрела была вот такая.

— Иногда думают — да и вы сами тоже наверно, что мы с Анатолием Васильевичем враги, ибо мы так яростно сражаемся здесь. На самом деле мы хорошо относимся друг к другу. Я уважаю Анатолия Васильевича, он — меня.

Мы просто расходимся с ним по ряду вопросов. Так вот Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я же держусь иного мнения. Ну, что ж, каждому его родственники лучше известны.

Буря аплодисментов приветствовала эти слова. Зал встал и аплодировал целых пятнадцать минут. И мы ждали, как же ответит Луначарский на такой удачный удар противника. Обойти этот вопрос было нельзя — по законам диалектических турниров того времени. Промолчать — значит признать поражение.

Но Луначарский не промолчал. Все заключительное слово он посвятил разбору аргументов содокладчика, и казалось,

что он уже уходит от ответа. Но Луначарский не ушел, и мы удовлетворенно вздохнули.

— Вот архиепископ Введенский упрекнул меня за такое родство с обезьяной. Да, я считаю, что человек произошел от обезьяны. Но в том-то его и гордость, что на протяжении сотен тысяч поколений он поднялся от пещеры неандертальца, от дубинки питекантропа, до тонкой шпаги диалектики участника нашего сегодняшнего турнира, что все это человек сделал без всякой помощи Бога, а сам.

Таким образом, удар шпаги Введенского был отбит, и мы успокоились. Побежали — я в общежитие на Черкасском, а Лазарь — к родным на Арбат.

Если в Москве в сражениях с Введенским Луначарскому приходилось трудно — а это было весьма заметно, то уж в Вологде выступления Введенского напоминали избиение младенцев.

Тогда власти разрешали устраивать такие диспуты в целях общего просвещения. Отец мой активно участвовал в этих диспутах со стороны религии, хотя был уже вовсе слепым.

Введенский пользовался широчайшей популярностью, приезжал на эти диспуты в Вологду, вербуя себе сторонников в свое радикальное крыло русской церковной смуты.

Диспуты в Вологде велись по московским правилам. Докладчиком с заключительным словом был кто-либо из местных — лектор совпартшколы Кондратьев или любитель-диспутант, скептик, вроде ссыльного анархиста Герца.

XXXI

Обновленческое движение завоевало себе прочные позиции в Вологде — власти отдали им собор, из которого в революцию был выброшен отец. Служить как священник отец

уже не мог из-за слепоты — провел только какую-то службу, где наградили его митрой. Но как консультант, как автор воспоминаний — в Вологде был и журнал "Церковная заря", номера три или четыре вышли, где были напечатаны воспоминания отца о кое-каких вологодских иерархах.

Но дело, конечно, не в этом. То, что отец оказался нужен, чрезвычайно его оживило. Я водил его на все эти диспуты, как поводырь.

К сожалению, глаукома не хотела ждать, боли все увеличивались, а отец все не хотел перерезать нерв, все ждал, что вот-вот наука одержит решающие, возвращающие зрение победы. Операции Филатова над катарактой усиливали надежды.

В конце концов он так и умер. Да и сейчас нет средств от глаукомы. Глаукому оперируют, но в более раннем периоде развития болезни, который уже был у отца когда он обратился к глазникам.

Наука не подвела отца. Его ждало буквально вот-вот наступившее после его смерти в 1934 году наступление радио, радиоприемников — огромного количества информации, которое получил бы отец, будь он жив.

В те годы были повсеместны лишь детекторные приемники, щелкавшие в ухе, нащупывавшие камешком радиоволны.

То, что можно втыкать розетку в электросеть, в России еще не было известно.

До радиоприемников отец не дожил пустяков — одного или двух лет.

XXXII

Обновленческое движение имело хорошие корни в Вологде и обещало победу, но Тихон, сидевший в тюрьме, оказался хитрее. Он признал советскую власть, раскаялся

и покался публичным заявлением в газеты. С этого часа обновленчество пошло на убыль. Обновленчество было добито патриархом Сергием уже во время войны.

Александр Введенский и был тем церковным русским реформатором, — их очень много в истории, и не только в России — чьи идеи одержали победу, отстранив и уничтожив самого новатора.

Разве Петру, с его западной политикой, надо было убивать Софью? Софья была гораздо западнее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантизма за завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное человеческой природе.

Разве Петру нужно было казнить стрельцов таким диким способом, да еще лично, — ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое больше, чем погибло в крупнейшем сражении века — Полтавской битве...

Разве было надо Николаю Первому вещать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи — индустриализация России, внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян.* Все это сделал Николай, казнив декабристов.

То, что в русской церковной истории называется наследством патриарха Сергия, — это и есть идеи Введенского, принятые на вооружение при отстранении их автора и главного идеолога.

Введенский умер в 1946 году, так и не помирившись с Сергием. Борьба идей весьма отличается от борьбы людей.

На эту тему следовало бы написать не роман (рассказы, наверное, есть), а хорошее историческое исследование.

*) См. примеч. к стр. 30.

Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом.

Обдумывая, наверное, разные варианты, желающий дать наглядные результаты, как опасное зло можно задушить в зародыше, — отец решил проблему этого духовного воспитания в обычной своей догматической и эксцентрической методе.

Старший мой брат родился в Вологде же, еще до отъезда в Америку, а две сестры и брат Сергей — за океаном, на Алеутских островах. Там он воспитывался отцом и на глазах отца по собственной его методике.

Я родился в 1907 году, через два года после возвращения отца в Вологду. Вологда — город, знававший еврейские погромы.

В 1905 году был убит черносотенцами в Петербурге депутат Государственной Думы Герценштейн. Россия была охвачена митингами протеста. Передовое духовенство служило публичные панихиды по Герценштейну. Служил такую панихиду и мой отец, и был лишен сана на некоторое время, выступал в Народном Доме, который был сожжен черносотенцами в 1905 году.

Когда я пошел в школу, отец сделал самое простое, чтобы получить из личности своего сына самый надежный результат.

В школе мне было разрешено приглашать к себе домой только товарищей-евреев. Так и вышло с самого детства, что у нас дома постоянно Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев — те лица, родители которых вели себя так же, как отец.

Так была успешно решена одна из важнейших педагогических проблем, беспокоивших отца.

Разумеется, в наш дом мне разрешали принимать кого угодно. То же относилось и к моим братьям и сестрам. Всех, кроме антисемитов.

Отцовская методика давала вполне надежный результат. Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладываемый в юный мозг, доброе и вечное.

Я думаю, что с отцами моих товарищей отец говорил сам. Отец считал сионизм естественной еврейской религией и поддерживал еврейство не в горьковском, а в сионистском смысле. С удовлетворением, наверное, отец видел, как хорошо срабатывает его педагогический прием. Но отец не ограничился таким приемом в этой проблеме. Еще до школы, еще до войны, когда мне было лет пять — отец брал меня на свои прогулки — тут мы просто гуляли, но всегда в этих маршрутах была какая-нибудь важная тайная цель.

В одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги, и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же Церковь, что Бог — один.

Встревоженный сторож — синагога была заперта — хотел побежать за раввином. Намерение отца было войти со мной в храм, увидеть службу. Но время было не молитвенное.

В 1917 году сионисты по выборам в Учредительное Собрание шли отдельным списком, и отец это одобрил. Сам он голосовал за Питирима Сорокина, правого эсэра — своего земляка.

XXXIV

Отец мой был абсолютным трезвенником, он не пил и не курил. И как всегда, собственного совершенствования отцу казалось мало, и он вовлек в доброе дело, обратил в свою веру всех близких к нему людей — маму, детей. Силу личного примера отец считал лучшим воспитательным средством.

Исключений, как всегда, не делалось никаких и ни для кого, ни при каких обстоятельствах.

С презрением относился к вегетарианству — у нас никогда не было вегетарианских блюд в семье охотника и рыболова.

Неустанный организатор всяческих обществ трезвости в рабочих районах — отец и сам показывал личный неустанный пример.

На праздники — Пасха или Рождество — у нас никогда не подавалось вина, и ни гостям, ни родным не разрешалось курить за столом. Курили трое дядей — но на улице или на кухне. Никакие гости не могли нарушать это правило.

При этих условиях — легко догадаться, что гостей у нас бывало мало, даже на праздниках, при обязательных визитах.

Мне тоже пришлось пройти тяжелое обучение во время визита епископа, который по традиции объезжал соборных священников, — как подходить к руке, чтобы мальчик не показался дикарем — до такого обучения отец, разумеется, не унизился. Но все прошло благополучно.

Я помню — спрашивал, всегда ли так было, что он не пил и не курил.

— Нет, не всегда. — Вот и весь его ответ.

Мама рассказывала мне после, что в юности отец и пил и курил. Но бросил и пить и курить после смерти отца, моего деда, который замерз на крыльце родной избы.

У нас в семье дети не то что боготворили отца или очень любили. Трудно боготворить человека, который лезет буквально в каждый твой поступок — это я ощущал с детства и легко выработал себе свой мир, не подвластный отцу.

Несчастье с отцом, слепота [вызывали] острую жалость. Эти последние четырнадцать лет жизни отца — это героический подвиг матери моей.

В этом крахе — страшном — распад семьи, смерть любимого сына, слепота мужа, нищета — мать не растерялась, не пожаловалась.

Нужно было написать пьесу о мертвом боге, но мать не была драматургом. Проблема была не в схватке добра и зла, а в том, что надо варить обед — для этого нет ни карточек продуктовых и хлебных, ни денег, ни помощи уже взрослых детей, вроде моего московского брата и московской сестрицы.

Ведь для того даже, чтобы хлеб выкупить по карточкам — чего стоило добыть эти карточки, которых семье попа не давали в Вологде, хотя брат — крестьянами убит на фронте.

Поток этих истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле и не было от него защиты.

Именно по духовенству и пришелся самый удар этих зверских народных страстей.

У каждого дворянина находился родственник из свободомыслящих, а то и просто революционеров, и справки эти спасали семью, давали ей какие-то права.

У духовенства не было таких справок.

Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либеральных священников, от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Флоренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных свободомыслящих не было пощады. Их — уничтожала, оскотняла — и черная сотня, мстя за борьбу, и власть — по принципиальному догматическому положению.

Этот тяжелый удар перенес и отец. Вдобавок у него убили любимого сына и он сам ослеп. Но мама, повторяю, не писала пьесы о мертвом боге, а целых четырнадцать лет в одиночестве сражалась за жизнь.

Потом умерла.

Отцу мстили все и за все. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас давно

выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора.

Всю свою вологодскую жизнь я прожил душно, тесно, не хватало воздуха.

XXXV

Новые силы, новые краски вошли в мою жизнь с приходом в наш класс моего сверстника — Алешки Веселовского. Алешка был маленький литературоведческий вундеркинд, имевший научные публикации уже в десятилетнем возрасте. Этот Моцарт литературоведческий болел туберкулезом.

Алешка был сыном племянника Александра Николаевича Веселовского, крупного литературоведа Алексея Николаевича. Сам Алексей Алексеевич, отец Алексея, также имел ряд напечатанных трудов и после смерти отца в 1918 году бежал всей семьей в город хлебный, в Вологду, спасаясь от голода. На Север бежали немногие, и бегство профессора Веселовского не было связано с чайковскими "событиями",* в Архангельске. Алексей Алексеевич просто искал хлеба, заработка и подходящих условий для больного туберкулезом маленького сына. Такие условия Веселовский нашел в Вологде и прочно там обосновался. Он преподавал историю, литературу в вологодском рабфаке, новом привилегированном заведении, где оплата "шкрабов" была выше, чем в какой-нибудь жалкой школе 2-ой ступени, которая не давала ни хороших карточек, ни места для учеников.

Сам же рабфак был размещен в вологодской духовной семинарии.

*) В 1918 г. Николай Чайковский (1850-1926) возглавил антибольшевистское правительство Северной области (Архангельск).

Алешка Веселовский был родом из знаменитой литературоведческой русской семьи, где поколение за поколением укрепляло литературоведческие высоты, завоевывало новые рубежи, семьи, где подобно музыкальному гену в гении Бахов можно было говорить вполне и о литературоведческом гене.

К сожалению, этот ген не был проверен — дальнейшие поколения русских литературоведов были остановлены смертью Алешки в Вологде от туберкулеза — в 1921 году.

Вот в его-то семье — мать и отец оба историки литературы — я и встретил впервые в жизни настоящую библиотеку — бесконечные стеллажи, ящики, связки книг, набитых под потолок, — царство книг, к которому я мог прикоснуться.

В семье у нас не следили за опозданиями детей, и я широко пользовался этим разрешением.

Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос — французский. Мы читали на голоса "Песнь о Роланде", с Алексеем же вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник, и разыгрывали целые сцены то из Орлеанской, то из Сирано де Бержерака, то из "Принцессы Грезы", то из "Шантеклера".

Эти вечера за скромным чаепитием, изредка с сахарином, часто кончались спиритическим блюдечком, до которого и отец и мать Алешки были большие охотники.

В преферанс у Веселовских не играли, но блюдечко вертели весьма усиленно. Иногда Алешка и я, и еще кто-то из товарищей Алексея, принимали в этом участие. Не помню, каких именно духов вызывали взрослые, какие именно вопросы задавали, но в наших детских спиритических вечерах мы вызывали по книжкам Роланда, Наполеона. Путных ответов мы не получали — возможно оттого, что у меня были какие-то "флюиды" в пальцах, которые не дали явиться духу.

Эти спиритические попытки общаться с загробным миром всегда кончались — именно по предложению Алешки — немедленным доказательством устойчивости: посещением ночью кладбища. Кладбище Духова монастыря было под боком, и вот мы, после душной тесноты спиритического сеанса, выбирались на морозный воздух по Северной звезде.

Тут же Алешка требовал — посетить кладбище, прикоснуться к могиле и выйти на дорогу, где ждут товарищи испытываемого.

Я эти ночные проверки переносил легко.

Именно с Алешкой я был и в театре — на "Разбойниках", на "Эрнани". Театр был нетопленный, и мы на галерке боялись пропустить хоть слово из дымящихся белым паром актерских уст Карла Моора.

Сережа Воропанов был третьим нашим другом в этих литературно-спиритических экскурсиях.

Учились дружно мы всего года два учебных. Но уже на последнем году было известно, что Алеша болен и в школе учиться не будет. Я пришел к нему домой. Алешка хотя двигался хорошо, не лежал, а глаза его блестели, щеки были восковыми. Я рассказал школьные новости. Помахал ему рукой с порога.

А потом я узнал, что Алешка умер. Мать долго лежала — не туберкулез, а какое-то нервное потрясение свалило ее с ног. Но у Веселовских я больше не бывал.

Через год после смерти Алешки я встретил его отца, профессора истории Алексея Алексеевича Веселовского, на улице. Отец был вроде бодрее, чем при нашем расставанье после смерти Алешки. Оба они — и профессор, и его жена — были страстные курильщики, курильщиками и остались. Алексей Алексеевич любил махорочные трубки. Закуривая ее, закашлялся.

— Ну, как вы живете, Алексей Алексеевич?

— Да так же, все вертим блюдечки. Приходите. Мы ведь с Алексеем говорим каждый день. И вы поговорите.

Но я не пришел к Веселовским.

XXXVI

В каких отношениях был мой отец с Богом? Этот вопрос занимал меня и в юности. Уж если он выбрал себе такую претензионную, такую неблагодарную профессию, то должно же быть наитие, "транс", в который впадал, например, Александр Введенский — из близко виденных мной церковных ораторов. Но Введенский был человек не духовного звания, а отец был потомственным профессионалом.

Я часто наблюдал, как молится отец, особенно в то время, когда после очередного "уплотнения" мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.

Отец молился всегда очень мало, кратко — минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении, и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это — молитва на ночь.

Никаких утренних молитв, да еще громких, дома, не видел я никогда. И почти не слышал, ни раньше — то есть во время спокойной жизни, ни позже.

Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его службы в церкви — достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.

Дома, во всяком случае, он сообщал Богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей.

Молитва — теоретическое занятие. Психологическое настроение не спокойствие — вроде позы йога. Йога в отце не было.

Чрезвычайно характерен для отцовского общения с Богом отцовский эксцентризизм — в том, что иконой, перед которой он молился, была не икона, а картина Рубенса — голова Христа в терновом венце.

Сначала эта икона висела в парадной комнате, приемной комнате отца, потом переселилась в спальню.

Висела еще какая-то олеография, которая нравилась отцу — образ Спаса Нерукотворного, но я не знаю, превращал ли ее отец в икону.

Читать "Отче наш" — я не помню, чтоб меня кто-то учил — мать, сестры, и уж не отец, конечно.

Для меня, с моей памятью на стихи рифмованные и стихи белые, это "Отче наш" было не труднее Пушкина [...]. Но и [стихи] богохульные тоже не приходили в голову. Первое стихотворение богохульное я услышал в стихах Клюева.

XXXVI

Отец мой жил жизнью культурного русского интеллигента. Летом вся семья жила в деревне в шести верстах от города, на реке мелководной, как все тамошние реки.

У отца была лодка, и нам разрешалось брать весла, перегонять лодку на тот берег, возвращаться. Разрешалось кроме двух дней в неделю — субботы и воскресенья. Если у отца была священническая служба, то на субботу.

Отец приходил из города пешком вечером каждый день — сама дача подбиралась ради этих его ежедневных прогулок. И я часто выходил на холм, откуда было видно издали, как идет отец по ржаному полю, как качается в золотых колосьях его серая, легкая ряса из шелка, как сноп золотой ржи.

Утром отец уходил в город — мы еще спали. Иногда на какие-то дни нам не разрешалось пользоваться лодкой — у отца была рыбалка.

Эта рыбалка — отец владел неводом да и еще и другими сетями — была, по его мысли, первым приучением к природе, ее законам. Вся семья очень охотно принимала участие в этих рыбалках. Вся, кроме мамы.

Я как-то не мог вызвать в себе тот дикий энтузиазм рыболовства неводом — азарта. Отец отрицал удочку и никогда удочкой не ловил сам. Но неводу он отдавался весь.

Я хорошо помню эти рыбалки — как заводили невод, ловили удачу и как рыба взлетала над водой и уходила бесследно. И как тащили тоню с двух сторон.

Невод тащили по земле и пойманную рыбу глушили и бросали в корзины и вытаскивали.

Тут же варили уху из пойманной мелочи, а рыбу покрупнее — завтра [в виде] жареном, от которого меня поташнивало почему-то.

А однажды мне довелось стоять близко от отца, когда вытаскивали невод, и я был просто поражен неожиданной его злостью, азартом охотника.

В неводе была очень крупная красавица щука фунтов на десять, а то и больше. Щука упрыгнула в песок прямо около моих ног, и я загляделся на красоту рыбы. Резкий окрик отца вернул меня на землю и воду. Отец, видя, что я упустил рыбу, бросился сам, бросился ничком, удержал рыбу на песке и почти мгновенно выхватил из кармана перочинный нож и воткнул в хребет рыбы. Щука бросилась, плеснула, но сразу заснула.

Презрительный взгляд отца был наградой моей неловкости, моей чужести этих охотничьих страстей.

Потом я мало бывал на этих тонях, а на ночных поездках с отцом — никогда.

Оба мои брата [мучили] меня замечаниями. Я миновал и обучения рыбной ловле. Рыболова из меня не получилось. Не получилось и охотника.

У нас была охотничья семья. Я был белой вороной. Я так и не выучился брать в руки берданку, централку.

Упорное мое нежелание убивать и было подлинным конфликтом моим с отцом.

Отказ этот был по своей духовной и душевной силе [вызовом стремлению подчинять] любую человеческую волю – отец отступил от меня, махнул рукой.

То, что я не зорил гнезда, не убивал рогаткой белок и птиц – все это приводило в раздражение отца.

В конце концов – много лет [...] все это обсуждалось и переживалось усердно – меня перевели на обслуживание животных. Отец всегда держал кур, кроликов, коз, свинью. Я ладил с козами, но кроликов резать не мог, петухам горла не рубил топором.

Кабана, за которым я ходил какое-то время, заколол на моих глазах брат Сергей кинжалом – на глазах отца и моих.

Огромное количество мертвых уток, гусей привозил брат с охоты. Это меня не увлекало.

Меня перевели на обслугу коз, которых я усердно доил, ходил за ними, принимал козы роды – нашел свое место в отцовском хозяйстве. Козы ведь умные, но привередливые. Была одна у меня из привередливых – коза по кличке Тонька. Коза заболела и умерла от рвоты неукротимой. Я помогал ей по указанию отца – ставил клизму, промывал желудок, но Тонька умерла у меня на руках. И я расплакался, забился почти в истерическом припадке, что вызвало крайнее неудовольствие отца – я заслужил ряд бранных кличек.

Выяснилось, что резать козлят я тоже не могу – надо "нанимать" человека.

Все это было уже в гражданскую, во время голода, когда отец уже ослеп, а брат был убит; вопрос — кому колоть и резать получил неожиданную остроту.

Но все шло благополучно до дня, когда [погиб] четырехманный козел по кличке "Мардохей" — клички козам при рождении давал отец, тоже по своему капризу, развлечению собственному. У всех были Машки, Жучки, а у нас Томас, Веста, Мардохей.

Я, конечно, помню этих козлят с головы до ног, и сейчас могу вывести их зрительной памятью отчетливо и ясно.

А с Мардохеем был вот какой случай. Обычно на длинной веревке коз привязывали за рога, хотя у них были ошейники. Но я поленился и привязал веревку прямо к ошейнику. Вербка была длинная [...]. Козел вскочил на забор и спрыгнул оттуда по эту сторону — удувленный, но еще живой.

Слепой отец вышел на крыльцо, глядя на мою беспомощность, попытался сделать искусственное дыхание. Стали мы делать это вдвоем — не получалось ничего, тело Мардохея чуть похолодело.

— Надо зарезать его быстро! Вот тычь сюда! — Отец нащупал сонную артерию козла.

— Режь, режь! Надо кровь спустить, тогда можно будет съесть.

Ощупью отцу удалось прирезать козла — из перерезанной артерии синеватая кровь почти не текла.

— Повесь его на забор вверх ногами и сними шкуру, пока еще теплая.

Я снял шкуру. — Голову отруби! — Я отрубил голову.

Вот это охотничье искусство, с которым действовал отец, меня поразило.

XXXVII

Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей.

Церковными обрядами я интересовался мало.

Вера в Бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее, как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой.

Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы.

— Самое главное — это успех в жизни, успех.

На эту тему отец удостоил меня беседы — к сожалению, поздно; в четырнадцать лет я уже был вооружен книжной мудростью, с какой никакой здравый смысл отца справиться не мог.

Я уже поспорил с Мережковским, почитывал книжки.

Отец старался внушать это не всегда прямо, но говорил и примерами.

— Ты должен завоевать успех.

Сначала профессия — твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно неважно, какие ты принципы исповедуешь, — все равно. Лучше всего, это научные занятия, профессура, кафедра.

Аргументы насчет божественной сущности человека отец не принимал главными.

Его главным героем был Питирим Сорокин — зырянин, земляк отца по родине, по Сыктывкару.

Стихи отец не то что презирал, а некрасовский уровень считал наивысшим. Некрасов — кумир русской провинции — и в этом вкусе отец не отличался от вкусов русской интеллигенции того времени.

Я кончил школу пятнадцати лет, первым учеником.

И хоть давно было известно, что в высшее учебное заведение можно попасть только по командировке, а командировку не дадут сыну священника — отец продолжал на что-то надеяться.

Наша классная руководительница Екатерина Михайловна Куклина подготовила мне аттестацию высшего качества. "Юноша с ярко выраженной индивидуальностью", и, поскольку я интересовался только литературой и историей — "имеет склонность к гуманитарным наукам".

Я показал характеристику отцу. К моему величайшему удивлению, она привела его в бешенство, да что такое бешенство — вызвала длительный истерический взрыв.

Отец усмотрел в моем школьном свидетельстве ту же руку его каких-то тайных врагов. "Теперь дураку нарочно дают такую характеристику, чтобы не поступал на медицинский. Разве я их не понимаю!"

Отец разорвал бумагу. "Неси назад. Пусть тут будет ясно сказано — "к естественным наукам". Меня не обманешь!"

Вся радость от выпуска, от окончания школы, улетучилась.

Но — слепой отец бился в кресле в истерическом приступе, белая пена выступала на губах. Я вернулся в школу, к Куклиной.

— Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности.

— Я поступаю на медицинский, — попросил я, — и характеристика поможет.

И она, и я, и заведующий школой Катранов хорошо понимали, что ничего не поможет.

Не споря со мной, переписали мою характеристику, и я принес улучшенный вариант отцу.

Тут же выяснилось, что никаких командировок в ВУЗ детям духовенства никакого РОНО не будет давать.

Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи — абсолютно все из детей дворян, купцов, торговцев —

все поступили в Ленинграде — туда, куда хотели, и на каникулы приехали в студенческих фуражках. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства.

Отец обвинял и меня, и мать — всех, кого он мог услышать и почувствовать в комнате, — он ослеп уже два года вовсе, упрекал, что я не хочу учиться, а мать меня защищает, лентяя. Отец решил добиться приема у заведующего РОНО — того учреждения, которое занималось выдачей таких документов.

Я записался на прием к тогдашнему заведующему РОНО товарищу Ежкину. В жизни я не забуду этот визит.

Комната РОНО была на втором этаже присутственных мест.

Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтоб не ошибиться — в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу.

— Вот мой сын кончил среднюю школу. Ему не дают поступить в высшее учебное заведение, лгут в школе — из-за какой-то мести старой.

Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: "поп в кабинете!" Голос Ежкина зазвенел:

— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли? Никто его в школе не обманывает. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты? — обратился заведующий РОНО ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, ходит, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в ВУЗ'е советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор.

Всю дорогу отец молчал и вообще больше со мной не говорил на эту тему, не давал никаких советов насчет моего высшего образования.

В 1926 году, когда я поступил в университет, отец молился на коленях всю ночь. Но как всегда напрасно.

XXXVIII

С товарищем Ежкиным мне пришлось познакомиться раньше, той же зимой 1922-23 года, но в обстоятельствах, которые начисто исключают пристрастие Ежкина или его классово-направленную злопамятность, ибо при этой встрече я был заgrimирован, а товарищ Ежкин находился в состоянии, когда человек не способен отличать добро от зла. Даже классовое добро от классового зла. Я не хочу сказать, что Ежкин был пьян. Отнюдь, совершенно отнюдь, как говаривал Максим Горький. Товарищ Ежкин скорее всего был трезвенником, даже фанатиком трезвости. А может быть и нет, все это не суть важно.

Дело тут вот в чем. Наш городской театр ставил спектакль силами любителей. Руководил постановкой один из режиссеров городского театра Бардин. Шла "Каширская старина" Аверкиева. Это хорошая, сценичная пьеса, имевшая большой успех у зрителей десятых годов и естественным образом шагнувшая в двадцатые. Пьеса эта в четырех актах, причем третий акт кончается бурной сценой объяснения, во время которой герой ранит героиню и плачет над ее телом. Вот этого героя играл губвоенком Мазо, при обязательном условии не отстегивать кавалерийских шпор. Марицу же, его невесту, играла вологодская любительница Нина Николаевна Кашинова, будущая заслуженная артистка РСФСР из театра Моссовета.

Губвоенком Мазо был знаком с этой пьесой и раньше и играл на репетициях не без блеска, если бы не кавалерийские

шпоры, но к началу второго акта выяснилось, что Мазо где-то сильно заложил. Спектакль в третьем акте кончился тем, что губвоенкома едва оторвали от артистки Кашиновой. Да еще после занавеса на аплодисменты механик привычным движением распрямил занавес снова, обнажив так неудачно одну из тайн вологодских кулис.

Занавес задернули, и заведующий Главполитпросветом Вологды товарищ Ежкин отправился в качестве цензора объясняться к губвоенкому Мазо.

Мазо под руку с Кашиновой по ошибке попал в общую артистическую уборную, куда собрались и мы, статисты городского театра.

Мазо распорядился принести целый ящик пива неизвестного происхождения со знаком вологодской марки. В это время явился товарищ Ежкин и, подступив к Мазо, стал внушать губвоенкому все неприличие его поведения.

Мазо речь Ежкина не понравилась, и он вытащил наган.

— Ты трех минут не проживешь, гад. Ну, руки вверх!

Ежкин поднял руки.

— Считаю до трех — и ты на том свете!

При счете "два" любительница Кашинова обняла губвоенкома за шею и повалилась с ним на пол. Выстрел Мазо пришелся в потолок.

Товарищ Ежкин мгновенно юркнул в дверь и больше, мне кажется, в Вологодском театре не бывал.

Губвоенком же вдруг захрапел и заснул. В четвертом акте роль главного героя доиграл сам режиссер Бардин. У него был большой опыт работы на провинциальной сцене, а там такие случаи бывали нередко.

Я много раз думал — почему в Вологде, таком традиционно свободолюбивом городе, не было ни одного восстания, ни одного мятежа против новой власти.

Ведь нет городов, где бы не поднимался мятеж. Вологда — исключение. Это имеет свое объяснение.

Объяснение это — в жестоком терроре, осадном положении, в котором город находился, в видах предварительной цензуры, что ли.

Человеком, возглавившим и организовавшим этот террор, был Кедров, командующий Северным фронтом, председатель известной "Ревизии".

Слишком дорогой ценой, а проще сказать — головой пришлось бы заплатить любому гимназисту. Потерпев неудачу в Архангельске, Кедров со своим Особым отделом обосновался именно в Вологде, в штабе Шестой армии, возглавляемой царским генералом Самойловым.

Странный человек был Кедров — Шигалев нашей современности, Шигалев — в таком невероятном сочетании, явившийся на вологодскую, русскую мировую сцену.

Кедров был не только Шигалевым. Тут было нечто пострашнее. Юрист и сын юриста — московского нотариуса, отдавшего все личное состояние на революцию еще в начале века.

Врач, учившийся в Брюсселе, где учат не только лечебным знаниям, но и гуманизму. Музыкант, окончивший консерваторию по классу рояля, сам вдохновенный пианист, развлекавший Ленина глубочайшим исполнением Аппассионаты еще на швейцарских вечеринках.

Кость от кости, плоть от плоти московской интеллигенции.

Именно Кедров заставил меня подумать, что все это не облагораживает.

Знаменитый военный руководитель, командующий Северным фронтом, а когда его сняли, через месяц после командования, он уже успел расстрелять немало людей.

Кедров был снят через полтора месяца после назначения — за перегибы, по представлению Ветошкина, боявшегося, что Кедров завтра расстреляет и его, председателя Вологодского горисполкома, за провал мобилизации. Мобилизация на Северном фронте — сама по себе ничтожная — тысячу человек надо было мобилизовать, но и этой цифры не удалось добиться.

Но историки гражданской войны считают, что борьба Кедрова в гражданской войне с контрреволюцией может быть приурочена к самой большой битве в истории и роль Кедрова не должна быть забыта.

Не знаю, так ли это?

Вряд ли масштабы подобны битве за Берлин?

Триста тысяч человек убитых — тут какое сравнение с кедровскими возможностями.

Словом, командующий Северным фронтом был снят и заменен другим.

Кедров был назначен после Севера командующим разгрузкой картофеля в Московском узле — пока, разумеется, решается его дело.

На следствии по делу о перегибах, о расстреле заложников, которое велось в Москве — Кедров предъявил ленинскую телеграмму — она широко комментировалась — телеграмму, которая кончалась словами: "Прошу вас не проявлять слабости — Ленин".

Ленин сказал на следствии, что он не думал, что под слабостью следует понимать расстрел заложников.

Дело это кончилось полной победой Кедрова — он вернулся на Север в роли начальника Особого отдела, и все, что хотел задумать, — выполнил.

Именно Кедрову принадлежит идея регулярных обысков, облав, проверок.

Трудно сказать, приносили ли его усилия толк или нет. Вся информация такого рода основана на слухах, на доносах, на "информации".

У Дзержинского Кедров возглавил весьма специфический отдел: по борьбе с предательством в партийных и военных рядах. Поле деятельности было и достаточно глубоко: Кедров возглавил целый ряд следствий по этой части. Первая его нагрузка — еще до Севера — расследование мятежа левых эсэров — в своем специфическом плане — предательство в Красной армии. След этой работы остался, и Дзержинский предложил Кедрову продолжить ту же работу.

Кедров возглавлял комиссию по проверке ряда фронтов, без конца находил и уничтожал врагов, словом — занят был по горло.

На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове.

Работая на Кавказе, Кедров собрал досье на Берия и отправил доклад и материалы Дзержинскому, но в силу каких-то обстоятельств Дзержинский не успел познакомиться с документами Кедрова. Дзержинский умер в 1926 году, а в 1939 году к руководству НКВД пришел Берия, тот самый Берия, на которого у Кедрова собиралось когда-то досье. Кедров чувствовал достаточно крепкую поддержку Сталина и решил действовать открыто.

Сын Кедрова, Игорь, работал вместе с отцом в ЧК. Договорились так, что Игорь вместе со своим товарищем подадут записку прямо по начальству.

Если что-нибудь случится, Кедров известит сам Сталина. Такие ходы у него были.

На следующий день Игорь и его товарищ были арестованы и расстреляны.

Кедров тут же вручил Сталину свою докладную, изготовленную заранее. В тот же день Кедров был арестован и посажен в одиночку, где его допрашивал сам Берия. Во время допроса Берия сломал Кедрову железной палкой позвоночник, добиваясь признания во вредительстве.

У Кедрова и здесь нашлась возможность известить Сталина, и Кедров написал Сталину письмо, рассказав о своем сломанном позвоночнике и требуя ареста Берия.

В ответ на это вторичное письмо к Сталину, Берия застрелил Кедрова в тюрьме самолично.

Письма Кедрова Сталин показал Берия. Оба эти письма были найдены в секретере Сталина, после его смерти. Именно об этих-то письмах и говорил Хрущев в докладе на XX съезде. Таков был конец Кедрова.

В 1918 году в Вологде аресты шли день и ночь.

О ночных облавах, сгубивших отца, я уже рассказывал. Но бдительность Кедрова не ограничивалась ночным временем. Город жил в облавах, в ежедневных арестах.

Рыночная площадь была переименована в площадь "Борьбы со спекуляцией". Там шла борьба со спекуляцией. Но не только она.

Я, десятилетний мальчик, торговал пирожками и заметил, что особенно много скопилось людей вокруг самодельной рулетки — табуретки с прибитой фанерной доской, разделенной на 10 секторов, совершенно равных.

Звонкий голос безрукого хозяина табуретки — "Ставьте ваши ставки, граждане. Плачу за пять — двадцать пять, за двадцать пять — сто двадцать пять, — ответ до двух миллионов". Хозяин портативного Монте-Карло был всегда настороже, чтобы подхватить табуретку и сигать через забор при тревоге. Действительно, не проходил и день, как свисток звенел, раздавался крик: "Облава!" — и всех загоняли в подворотню ярмарочного дома и процеживали по человеку. Вскоре я с удивлением заметил, что рулеточника во всяком

случае не ищут — он возвращался после каждой облавы на то же место. Возможно, что он давал взятки милиции и чиновцам, проводившим облавы, — ведь ответ был до двух миллионов. Но возможно и другое. Рулетка была постоянной приманкой, развлечением приезжих, которых-то и ловила кедровская ревизия — бывших офицеров и прочее.

С помощью табуретки Монте-Карло Кедров пытался нащупать и прервать связи с дипломатическим корпусом, который жил тогда в Вологде, в селе Кувшинове.

Возвратить дипкорпус в Москву Кедрову не удалось. Корпус уехал в Архангельск. Так что рыжий безрукий рулеточник мог иметь и особое поручение и особое задание.

Меня, как местного, да еще мальчика, тоже отпускали с облав, и я пристально наблюдал, как охорашивался рулеточник, выжидая, пока соберутся толпы людей, чтобы снова кричать насчет пяти и двадцати пяти.

Там же была и другая игра — угадывать карту или наперсток — где надо было заметить, под какой крышкой деньги. Но эти игры собирали меньше людей.

Наш учитель химии Соколов внезапно исчез, только потом я узнал, что Соколов расстрелян.

Этот недочет в моем среднем образовании едва не имел трагических последствий, о которых я рассказал в своем рассказе "Экзамен", — где испытание при поступлении в фельдшерскую школу в лагере — вопрос жизни и смерти для меня — выявило, что я не знаю, что такое химия, что такое H_2O .

В этом пробеле именно Кедров повинен.

Конечно, я видел знаменитый вагон Кедрова, стоящий на запасном пути у вокзала, где Кедров творил суд и расправу.

Я не видел лично расстрелов, сам в кедровских подвалах не сидел. Но весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено.

Кедров был чекистом без ордена. Только значки Почетного чекиста — к 5-летию Чека и к десятилетию, которые Кедров носил на своей гимнастерке. Кедров отнюдь не был врагом орденов и чинов. Напротив, выйдя из гражданской войны без единого ордена, Кедров обвинял врагов, которые мстят ему, контрразведчику, таким образом.

В 1927 году — к десятилетию советской власти, Кедров не был даже представлен к награждению. Дзержинский умер в 1926 году, и некому было вступить за Кедрова. Кедров был возмущен. Еще бы! Столько убивал, и вдруг! Кедров решил добиваться справедливости. Обратился к Сталину, и Сталин внял его мольбам. В 1928 году он был награжден орденом Красного Знамени за работу в период гражданской войны. Этот единственный орден Кедров и носил. Кедров получил орден при Ягоде.*

Когда в Архангельске высадился белый десант и было образовано правительство Чайковского, Ленин обвинил Кедрова в том, что тот "проворонил Архангельск" — дал ему строгий выговор и подстегнул телеграммой. Кедров в Вологде превзошел сам себя. Его поезд подошел к Плесецкой, уже занятой белыми, и из Плесецкой Кедров дал телеграмму в Архангельск, чтобы оттуда прибыли инженеры для разборки завала путей. Инженеры прибыли, и Кедров тут же у вагонов их расстрелял, обвиняя в измене. Этот поступок описан в книге одного из биографов Кедрова.

XL

1918 год был крахом для всей нашей семьи. Прежде всего — это был крах материальный. Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресали.

*) В 1928 г. председателем ОГПУ был Менжинский; Ягода занимал пост заместителя.

Немедленно выяснилось, что четыре раза в день надо есть, не только людям, но и собакам и курам.

Отец, большой семьянин, был поражен в самое сердце и никогда не оправился от этого удара.

Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод — восьмушка хлеба, жмых стали едой нашей семьи.

Мама и позже плакала, что из меня, из такого крепыша в детстве, вышел астеник — но мама, скрытая ламаркистка — ошибается. Это у меня гены только астенические. А мама ведь плакала, целовала мне руки — просила прощения, что вырастила меня таким физически некрепким. Но моему астеническому телосложению главные испытания были еще впереди — в золотых колымских заботах.

Я был мальчиком одиннадцати лет. У меня были братья, старшие, один — офицер, ушедший с военной службы в Красной армии, отказавшийся от отца с публикацией заявления, а второй — тот самый исключенный из пятого класса гимназии Сергей — любимец отца и поддержка семьи в этот очень трудный час.

Сергей был красноармейцем химической роты на Северном фронте и в 1920 году был убит на фронте близ станции Плесецкой.

Это был удар страшный, но не последний. В том же двадцатом году отец ослеп — его глаукома ускорила течение, ускорила страшный финал.

Старшая сестра Галя, уже замужня, постаралась у с к о л ь з н у т ь от удара, а выйдя замуж, не связываться с семьей.

Наташа, вторая моя сестра, приняла весь удар на себя. Она кончила гимназию в 1917 году, но ясно было, что поповским детям не будет дороги. Наташа спокойно кончила медицинские сестринские курсы двухлетние, поступила сестрой в больницу, и таким образом сдержала хоть частично

тот дискриминационный удар, который преследовал нашу семью в течение целого ряда лет.

Мама пекла какие-то пирожки, что-то меняла на хлеб, я эти пирожки продавал на базаре.

Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала — варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку.

Одно из самых омерзительных моих воспоминаний — это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после визитов.

Вот тут и сказалась отцовская любовь к хорошим вещам — шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, воротники, шапки бобровые, шубы.

У мамы не было никаких бобровых шуб, и своей одеждой в трудный час помочь она не могла.

Навсегда из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки.

В это же время я продавал жареные пирожки какие-то. Тут дело в том (это было время бумажных миллионов), что для выкупа карточек, — а по ним не давали ничего, — нужна была валюта советская, вот эти самые миллионы.

До червонцев было еще далеко — года два.

От церковных властей именно в этот момент после революции отец помощи и не мог получить, ибо черносотенное начальство — сам архиерей Трапицын — позаботилось, чтобы убрали отца из собора.

Вот тогда отец поступил на фабрику "Сокол", но потом заболел воспалением легких, а когда поправился — уже не было ни фабрики "Сокол", ни баронессы Дес-Фонтайнес.

У отца не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти.

Трудно сказать, считал ли он институт семьи выше института государства. В революцию эти коллизии были беспредметны.

Служить России — это слишком абстрактная формула, [включающая] в себя и подвиги генерала Игнатьева, и горьковские восхваления еврейства.

Наоборот, уже слепым, он самым внимательным образом следил за моими выступлениями в школе — и когда мне от школы была поручена речь на выпускном вечере, заставил меня переписать черновик — и все острые места, а их у меня было немало — заменить [. . .] в сравнения насчет пароходных колес. Отец испортил мою речь. Я должен был поклясться, что не произнесу лишнего. Эта речь запала у меня в памяти как свидетельство духовной капитуляции, моего слабодушия.

Хотя это и было сочинено по законам гомилетики — речь разочаровала всех, и в том числе и в первую очередь меня самого.

Тут дело, наверное, было в том, что отец все еще верил, что мне при моих способностях открыты все дороги — отец ошибался.

Я тоже лежал и спал в той же комнате, где кашлял и тяжело дышал отец с воспалением легких. Тогда ведь не было пенициллина и сульфидина. Отец встречал пневмонию один на один. Помощь врачей была в компрессах, в прослушиваниях, выстукиваниях. Выслушивание и простукивание — это ведь не лечение.

Каждую ночь во время этой болезни отца поднимали с кровати для обыска. Кедровские обыски были каждую ночь более года, — по тогдашней квартальной профилактике.

Обыск был еженощный и очень тщательный, иногда — дважды в ночь. Не знаю, какие мотивы повторных обысков, кроме устрашения.

Отец поправился, но это не было нужно — ни ему, ни семье, ни судьбе.

Общением с революцией были не только обыски, но странно фигурировали подлинные грабители — выволакивали вещи при униженной улыбке матери.

Эти самореквизиции запомнились мне самому навечно.

Семья наша не попадала в реквизицию — кроме шуб, у нас не было ничего. Но под обысками квартира была не один год. Все ценности вытаскивались цепкими руками. За месяц исчезла крупа — все исчезло.

Второй, тоже впечатлительной картиной тех же лет было вселение, уплотнение.

Тут разговаривать не приходилось — матери оставалось молить Бога, чтобы квартиранты попадались попримечнее. И действительно, у нас жил сначала какой-то Сергей Иванович, а потом семья военного инженера Красильниковца. Их было трое. Мать — старушка, сам инженер и его жена, лет двадцати пяти. Но нам случайно повезло тем, что комната попала в руки приезжих.

Гораздо хуже было уплотнение. Во флигеле, где жил дьякон, в одну из квартир был вселен Рожков, кузнец ВРМ — ударник производства, как теперь говорят — и член партии. Ордера на квартиры давались только членам партии — лучше если до февраля 1917 года.

Во всяком случае, первые вселения, первые ордера давались только членам партии.

В одну из комнат был вселен Рожков с женой и годовалым ребенком, гигант-алкоголик.

Каждый день Рожков возвращался с работы, выпивал самогон — водка ведь была запрещена в России целых десять лет с 1914 по 1924 годы, — выгонял к утру жену простово-

лосую, и спектакль начинался. Оскорбления матерной руганью в лицо этой женщины. Пудовый кулак Рожкова хлестал по лицу, по ребрам, по спине. Кончалось это тем, что кузнец сбивал жену с ног и топтал. Женщина только стонала.

Никто из зрителей никогда в таких случаях не вступался. Не вступались и мы. Я стоял дома, глядя на всю эту сцену из наших дверей. Сердце мое билось.

За своей спиной я услышал дыхание матери.

Рыжков погнал жену куда-то на улицу, догнал и поддал ей жару.

— Вот таким, — сказала моя мама, — я не хотела бы, чтобы ты вырос.

— Я таким и не вырос, мама!

Второй случай такого же рода коснулся меня. Я красил отцовскую лодку — все остальное было продано, но лодка осталась. Никто на ней не ездил, но краску берегли для кого-то, для чего-то. Потом и эта лодка исчезла.

Наверху над нами, в порядке такого же уплотнения, поселилась семья столяра заводского Корешкова. Туберкулезный больной, лет сорока, Корешков работал в железнодорожных мастерских.

Пока я красил лодку, Корешков тоже смотрел, как спускается котенок сверху по трубе водосточной — я хотел помочь этому котенку спуститься и снял его на землю, но сверху раздался истерический гром угроз истребить все поповское семя, и через две минуты Корешков был передо мной и размахнулся, чтобы ударить. Был к счастью [со мной друг], красил лодку со мной, не дал ему этого сделать. Но ругани, истерической брани тут было много.

Первую комнату слева, нашу гостиную, уплотнили еще с самых первых дней вселенского уплотнения: Это оказалось неожиданной удачей — казалось, не надо бояться дальнейшего уплотнения и сразу освободилась для продажи мебель — зеркало, диван красного дерева, два кресла. Это было время, когда царские деньги хранились у крестьян мешками в почти безнадежном ожидании, и на царские деньги ни крошки хлеба купить было нельзя. В лучшем положении были "керенки" — ассигнации в двадцать и сорок рублей, выпущенные Временным правительством. Этим "керенкам", как и Временному правительству, верили в народе гораздо дольше, чем всему царскому [...]. Эта удивительная переключка глубокого низа деревенского и верхушки валютных бирж Лондона, Нью-Йорка и Парижа — имела какое-то основание. Керенки эти печатались листами — их уже не резали на отдельные купюры. Крестьянские обладатели этих туго скатанных простыней, денежных рулонов, все еще гадали.

Но у нашей семьи и керенок не было, и в деревню повезли зеркала и мебель красного дерева. За какие-то полпуда муки и бутылки подсолнечного масла все это было продано к общей радости всех, ибо ставить эту мебель было некуда, и сестры с того времени стали обходиться настольным складным зеркалом, которое отыскалось у мамы.

Комнату эту занимали разные люди. Первым квартирантом был Сергей Иванович, приезжий какой-то лектор. Приходил он поздно, долго звонил, пока ему не открывали, подолгу извинялся, никогда ничего не варил на кухне и не ел. Потом он простился и уехал — он был командированный из Ленинграда пропагандист.

После Сергея Ивановича недолгое время в комнате жил Корешков, столяр, со своей женой, ожидавшей родов. Жена вернулась из родильного дома одна, ребенок был мертвый.

После этого каждый день из комнаты Корешковых доносилась матерная брань, удары: "Третьего мертвого рожаешь, сука!"

Корешков, к счастью, получил другую квартиру — на нашем же дворе — и переехал туда.

После Корешковых на какое-то время комнату занял новый городской прокурор по фамилии Шалашов, приехавший на новую очередную работу с очень молодой женой. Размещаться ему было у нас неудобно, ему подыскивали квартиру. Неудобство обострилось и тем, что у нас похожие фамилии, и не особенно грамотные почтальоны не разбирали ящиков, которых, конечно, было два. То в наш ящик всунут какой-нибудь секретный донос, адресованный на его имя, то повестку в милицию на имя отца уложат в ящик прокурора. Словом, прокурор торопил переселение.

Жили прокурор и прокурорша у нас недели две или три, когда произошел странный случай. Прокурор был на работе, молодая его жена хлопотала у печки, носила дрова с улицы, а я возвращался из школы. В наши комнаты я еще не прошел, как вдруг ветер вошел со мной в квартиру, открыл комнату прокурора, распахнул створки двери — и я невольно заглянул внутрь.

Половину комнаты прокурора перегородивала занавеска до самого пола, но отгораживала эта занавеска не семейную кровать — семейная кровать стояла в другом углу, а нечто другое. Занавеска сейчас была отодвинута, и было видно все, что за занавеской.

Там стояло тесно, плотно, поднимаясь вверх до уровня занавеса, нечто подобное книгам в библиотеке Веселовского. Но это были не книги и не тетради, а двухфунтовые пачки чая Высоцкого в фирменной обертке. Поставленные в несколько рядов, они напоминали кирпичную стену. Пачка кирпичей — была двухфунтовой пачкой чая. Стена была пятиметровая в длину, чай был уложен в несколько рядов, чуть не на полкомнаты.

Я прошел к себе, прокурорша вернулась, закрыла поплотнее дверь.

Вскоре прокурор Шалашов получил квартиру. Он долго работал в Вологде.

А к нам переехала большая семья из Ленинграда и прожила у нас около двух лет. Мать и дочь и ее муж — командир Красной армии Краснопольский. Краснопольский, как и все жильцы, которых поселяли у нас, был членом партии. Он был командиром каких-то технических частей. Жена его носила красноармейскую форму, как и он, — а мать сидела дома. Каждый вечер все трое зажигали лампу и садились играть в преферанс: яростно, иступленно, каждодневно. Кажется, что все, что скопилось за день в душе у каждого, очищается, освобождается в этой карточной игре. Это было вроде литургии для отца, и, отслужив эту преферансовскую вечерню, успокоенные, Краснопольские ложились спать. Ни рассказов о положении на фронтах, ни сплетен, ни выпивок — ничего. Только преферанс. Это радовало маму.

И когда Краснопольский уехал в длительную командировку — его теща обратилась к маме с просьбой отпустить меня к соседям, которых мать упорно называла "квартирантами", по вечерам в качестве третьего партнера для игры в преферанс, что, по мнению тещи Краснопольского, "дает молодому человеку положение в обществе".

Отец карт терпеть не мог и в доме карт у нас не водилось даже для гаданья или пасьянсов — в этом вкусы Наполеона и отца расходились, а гаданье отец считал вредным предрассудком и дочери его никогда не бросали башмачка, не лили воска и не глядели в зеркало. С тем же холодным презрением относился отец и к спиритическим сеансам, которых было немало в вологодском обществе в те годы.

Когда встал вопрос о том, что мне можно "получить положение в обществе" с помощью преферанса, мать из дипломатических соображений решила пойти навстречу "квартирантам". И я провел там немало вечеров, обучаемый самыми высшими профессорами этой непростой науки. Положения в обществе с помощью преферанса достигнуть мне не пришлось. Но случилось вот что. Как-то летом, в комнату к соседям принес вещи еще один человек — тоже красный командир с кубиками — сын хозяйки, брат ее дочери, тоже ленинградец. Два дня он прожил, а потом соседка вызвала меня в комнату и затворила за собой дверь. Я думал, что сын ее скрывается, и готов был оказать посильное участие в выполнении его задачи. Но нет, отпускной билет у сына был в полном порядке. Нет только махорки.

— Махорки? Но ведь я не курю. Да и дома нет ничего курительного.

Соседка курила, не выпуская трубки изо рта, кроша туда смородинный корень и даже размальывая окурки легкой папиросы и кроша в трубку для крепости. Но ни легких, ни крепких, ни самосада или махорки у старухи давно уже не было. Вся надежда на сына, но и сын явился без махорки.

— Слушайте, — сказал сын, глядя мне прямо в глаза, — а марки вы не собираете?

Марки я собирал в каком-то давно прошедшем школьном времени. Мне, спорящему с Мережковским, управляющему судьбами школы, обсуждающему вопросы жизни в их реальности. Свой первый и единственный марочный альбом я давно забросил.

— Нет, — сказал я, также не отводя глаз от глаз нового своего знакомого, — нет, марок я не собираю.

— А товарищи, которые собирают марки, у вас есть?

— И товарищей нет.

— Ах, какое несчастье, — сказал командир с кубиками.
— Я бы мог предложить хорошие марки. Для знатока. За махорку. Либерийскую серию. Вы знаете, что такое либерийская серия?

Мой новый знакомый вкратце мне все это объяснил.

— Ну что, мама?

— Да, да, да, — сказала старуха, размахивая пустой трубкой. — Да! Да!

Сын соседки расстегнул свою полевую сумку и вынул оттуда легчайший конверт из тончайшей бумаги. — Вот!

Таковыми конвертами у него была полна вся полевая сумка.

Все это — за пачку махорки. Либерийская серия была африканским уникалом и входила во все каталоги марок. Но куда ее продать? Кому? Я знал только Непенина, марочника из любителей, но Непенин был из другой школы, да и постарше меня. Я сбегал к Непенину. Условие было: продавать от себя, не называть ни соседку, ни ее сына. Непенин тоже пользовался консультацией какого-то подпольного филателиста, и вся игра шла через несколько рук. Для начала я оставил одну марку из серии у себя, а остальные отдал Непенину, и тот почти мгновенно приволок три пачки махорки — мою цену... Помчался домой, и мгновенно вернулся обратно. — В этой серии должна быть еще марка. — Да, — сказал я, вынимая марку, — вот она. Эта марка стоит еще две пачки махорки. Непенин умчался, принес махорку, с чьим-то советом не упускать всего, что можно купить из этих рук. Я вручил пять пачек махорки нашим соседям, но от встречи он отказался.

Сын вскоре уехал, и штурмы нашей квартиры филателистами всего города — затихли. Это — марки сына, а не мои, — сказала старуха, покуривая крепчайшую полукрупку №2, "ярославку".

Отец оставил ему в наследство целый марочный магазин "Петуолады" — на Фонтанке, магазин этот знает весь филате-

листический мир. После удачного проведения коммерческой операции старуха меня уже не стеснялась. "Суки проклятые!" Но я так и не выяснил, к кому относилось это замечание о суках.

XLII

Мама, после смерти сына и слепоты отца, взяла в свои руки все хозяйство, а значит и всю физическую и душевную ответственность за нашу семью, разбитую вдребезги. Мама выдержала и физическое и духовное испытание. В сущности, она делала дома каждый день то же, что и раньше, в течение тридцати лет, но уже так, чтобы ей не говорили "под руку", не советовали пустяков.

В какой-то день, в том же 1920 году, мама поняла, что слушать отца нельзя ни в чем — весь опыт его жизни превращался в пыль, в прах, что с революцией ничего не изменилось. В комедии жизни не прибавилось ни одной новой маски. Что рассчитывать можно только на свои и притом физические, а не духовные силы — в самом буквальном, в самом вульгарном смысле, — что все это, и стихи, и философия, и мечта о счастливом будущем человечества — все это прежде всего должно быть обеспечено кормлением четыре раза в день всех героев, всех солдат этой семейной армии.

К моменту смерти отца мама уже выгорела себе жизненное пространство, и только тогда решилась и документально подтвердила свою пригодность для житейского сражения, и только тогда решилась на советы, разумеется, необязательные, крайне осторожные, и хвастливо высказалась любимому сыну — мне.

О том, что никакой любви нет, что есть только любовь-жалость, что жить с отцом было очень, очень трудно в самые лучшие времена, что все ее девичьи мечты разбиты именно отцом, его самоуверенностью, капризностью, нежеланием

считаться с чужой судьбой. Что если уж в стихах можно найти какой-то жизненный рецепт, то он уложен в майковские формулы о русском мужичке:

Рад он жить, не прочь в могилу —
Лапти сплесть, да сбыть. —
Где ты черпал эту силу, русский мужичок.

Что НЭП, вологодский НЭП — это царские черные сотни, появление "у руля" тех же самых мужичьих лиц, с которыми всю жизнь боролся отец, и которые удивительным образом оказались нужнее новой власти, чем жертвенное принципиальное служение высоким идеалам, которые проповедовал и по которым жил отец.

Что отец гораздо меньше нужен новой власти, чем вся эта черная сотня — купечество, инженерство, дворянство.

Что нужно есть четыре раза в день, что нужно кормить детей и его, слепца, что он ничему не может ее научить.

Что она — единственный помощник для пятерых своих детей, единственный их кормилец, единственная их надежда.

Что никто ничем не может ей помочь, что все это она должна не только обдумать, но и сделать сама своими руками и своим умом.

Что настал час, когда ей надо продумать все, решить самой.

Так мать и приняла на свои плечи небосвод нашей семьи. Мать никого не учила, никого не упрекала, а только стремилась накормить детей и мужа.

Так мама прожила четырнадцать лет, — отец умер в 1934 году, а мама — в 1935, от гангрены. Колола дрова и разрубила топором ногу.

В 1934 году, при паспортизации, мама, имевшая по моим справкам право на пятилетний паспорт, неожиданно получила одногодичный. Я попросил ее написать, в чем дело.

Оказывается, не было пятилетних бланков, и ей дали годичный, с тем, чтобы потом заменить. Паспортист по-вологодски пошутил: "Тебе, старуха, не надо паспорта более, чем на год".

И мама умерла.

XLIII

Отец, укрытый слепотой и [вещами, которые] приносили мама и сестра Наташа, при новых тяжких известиях говорил — "все это — пустяки!"

Увы, это не было пустяками. Выступала на свет подлинная Расея со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему, что [не укладывалось] по правильному уровню.

Темные силы ворвались бурей, не могли успокоиться и насытиться. Самое главное — они существовали эти темные силы, утверждали свою вечность и прячась, маскируясь до нового взрыва — до войны, террора.

Мы, младшие дети — Сергей и Наташа и я — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, сказавшейся в Гали, в Валерии — старших детях. Кстати, даже имя "Гали" — встреченное отцом где-то на острове Кадьяк, тоже было фокусом. Русское имя Галина было изменено отцом на полутатарское "Гали", а вечные вопросы, ожидавшие девушку на ее жизненном пути при всяком представлении метрики, при любой анкете, должны были — по извращенной мысли отца — заставлять любую девушку или юношу подумать о смысле жизни, или о русской истории, или о церковной истории, а на самом деле приносили лишь ненужное для юности молодечество чье-то чужое, вроде участия Зевса в определении поступков повседневной жизни уже взрослого человека.

Лично у меня эти отцовские фокусы с крещением всю жизнь вызывали неодобрение, я не люблю свое имя — достаточно бы назвать лучшим русским именем Иван, и уж дочь свою я назвал именем традиционным из традиционных — Еленой.

Да, мы трое представители маминых генов — мы жертвы, а не завоеватели, и именно поэтому мы — судьи, мы хорошо понимали, что отцовские фокусы должны опираться на какую-то многолетнюю личную жертву кого-то близкого, чья личность раздавлена и растоптана.

Мы понимали, что главные задачи в нашей семье — не забывать о маме, не топтать ее в кухонную грязь.

У всех нас выражено и душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление в семье мы и представляли. Мы понимали, что стоит за этими козами, опарами, ухватами, и помогали в меру сил маме мы — никто из нас троих не мог этого одобрить.

Наша формула такая: сначала жертва, а потом право и советы. Личный успех — все мы ценили в грош. Именно потому, что мы — жертвы, мы не считаем нужным подчиняться.

Для меня, восьмого ребенка в семье, я, родившийся в 1907 году, не был ребенком, для которого отец ломал бы голову. Правила чтения, поведения, учения были выработаны, наверное, давно, и я только попал под автоматически действующий механизм семейных ограничений, запретов и правил.

У отца был один педагогический принцип: принцип первотворения, первоначального только от Бога, только от отца, и на этот толчок ребенок должен был откликнуться всей своей натурой, умом. Отец должен был только сказать о том, что хорошо, что плохо, и не повторять сказанного.

Те железные рамки нарочитой духовной свободы, в которые втискивал отец юные души своих сыновей, не имели ни единого исключения.

Подход, план жизни, ежедневные советы были для всех одинаковы — делились только по признаку пола — к дочерям несколько менялись требования.

Жизнь каждого была запрограммирована от рождения, и неудачи были лишь неполадками из-за внешних причин, нарушивших внутреннюю гармонию отцовского замысла. Забегающих вперед по его правилам следовало осаживать, отстающих — подгонять — советом, примером собственной жизни, щипком.

Я вспоминаю одну из самых деликатных проблем юности, проблему, которой не найдено решения и сейчас, — все законодательные решения были отступлением от бешеного бега, утопизма, фаланги Фурье, царства Сен-Симона, в которых я принял самое горячее личное участие позднее.

Эта проблема не состояла в педагогическом кодексе отца. По его мысли, все тут надо предоставить самой природе. Природа покажет верное решение.

Если у нас в семье говорили с детьми взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания вовсе были исключены.

Ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры никакой разъяснительной работы хотя бы в классическом плане тычинок и пестиков не вели.

Может быть ждали моих вопросов? Вопросов я не задавал.

Для того, чтобы все вести в соответствующем плане практической позитивной философии, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной — меня заставляли водить на случку коз.

В Вологде за случку козы от хорошего козла-производителя надо было заплатить какую-то сумму, чуть ли не рубль. Помню, я мял в ладонях рублевку, трепеща, никак не решаясь вручить ее хозяину, который наконец сам вырвал рублевку из моих дрожащих пальцев, продолжая поучать,

что если не забеременеет, то через две недели я могу привести нашу Машку бесплатно.

Причем, неистовые пляски, петушинный крик над распластанной курицей — все это скорей отвлекало меня от чтения, от какого-то школьного собрания. И не оставило никакого следа в моей детской душе.

Кусты вологодских лесов и садов были полны обнимающимися парами, примеров было много.

Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычинок, и краснеющая преподавательница Монетович начала, бойко постукивая по школьной доске указкой, объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Я только удивился, как это все похоже на знакомые мифы.

Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец.

Был в Вологде в то время и бордель один с классическим красным фонарем.

Купринская "Яма", выходящая в приложениях не то к "Ниве", не то к "Семье и школе", не то к "Природе и людям", читалась у нас в семье и даже обсуждалась, как реальный факт. Отец был поклонником горьковского "Знания". Все эти сборники занимали первое место в его книжном шкафу красного дерева. Правда, эти сборники были в казенном переплете и имели штамп библиотеки общества трезвости. Я часто размышлял над этим странным штампом. Сборники эти никуда не исчезали и всю мою вологодскую жизнь простояли в отцовском шкафу. Я думаю, что отец просто "зачитал" эти книги в библиотеке, чтобы держать под руками полезное чтение. Вряд ли он сам их покупал, эти альманахи.

В альманахах печатался и "Поединок" Куприна.

Когда хвалили "Яму" и я, мальчуган, вложил весь свой личный опыт суждения по такому вопросу, объяснил, что

"Яма" — скучное чтение, отец сказал: "Может быть. Прочти "Поединок", — и показал на шкаф. Но и "Поединок" мне не понравился, и детский Куприн (которого в Вологде почему-то называли Кúприн) вырос со мной в ранге второстепенного писателя, каким, впрочем, он является и по большому, по русскому, и по малому вологодскому счету.

Отец говорил о "Яме", как о чем-то отвлеченном, по хорошо известной ситуации из литературного реалистического произведения, заранее отбрасывая мысль, что его сын посетит такое заведение, — этого он не сделает прежде всего потому, что бережет честь отца.

Мать же толковала "Яму" по-другому, и ничего полезного в семейном чтении купринского романа не видела.

У мамы всегда были наготове какие-то стихотворные строки, соответствующие ее настроению, размышлениям, проблемам, трубящим ее решения.

И не только Некрасов, кумир русской провинции, — занимал тут почетное место, но и Алексей Толстой, и Пушкин, и Никитин.

Тем не менее, в отношении "Ямы" не были процитированы никакие куски ни из Мопассана, ни из Брюсова — мать просто боялась, что сыновья (меня еще не брали в расчет из-за моего малолетства) заразятся дурной болезнью в таких учреждениях.

Последующее многолетнее знакомство с этим миром убедило меня, что сифилис и триппер гуляют по миру вроде карающего меча ангела правосудия — того самого правосудия, у которого завязаны глаза.

Зараза и природа заразы [клеямили] навечно — ибо пенициллина в те времена не было — и грозили юноше отнюдь не в борделе, а в самом что ни на есть законном браке.

Утверждаю со всей ответственностью, что Плутарх в адаптации Знойко недостаточен для того, чтобы разбудить честолюбие в юной душе. То же самое и человеческие страсти

[. . .] под Овидия Назона, препарированы целомудренной рукой составителя хрестоматии.

Отец никак не мог пробудить честолюбие у своих детей. Бывают разные доктрины честолюбия, и этого отец не хотел понять.

Читать за столом у нас, слава Богу, не запрещалось, а то бы я возненавидел и обеды и ужины и завтраки и чай.

Читали — каждый свое. Отец просматривал "Русские ведомости" и "Вологодский листок", Сестры — какие-то модные романы, вроде "Мелкого беса", с продолжением; брат Сергей — какие-нибудь проспекты о продаже охотничьего оружия.

Я — детские журналы вроде "Семьи и школы" — и все и всяческое чтение, которое попадало под руку, и только что конфискованные тогда помещичьи библиотеки — Дюма в разных переводах, капитан Маризтт, "Мизерабли".

Только мама ничего не читала. Мама носила тарелки, варила суп, мыла посуду, покупала продукты. Такое было место мамы в нашем доме.

Мама дочитывала после детей брошенные книги, журналы, и на кухне — догоняла всех.

XLIV

В самые последние школьные годы — зимы 1921-22 и 1922-23 — я несколько разошелся со своей постоянной школьной компанией.

У меня появилась другая жизнь, где драматический кружок, школьные дела по Дальтон-плану отошли на второй план.

В этой школьной компании не было любопытных книг, и жажда чтения развлекала меня. Я оставался секретарем драматического кружка — кружка человек на двести, сам

был организатором, собирал культурные силы в тогдашней Вологде, делал всякие доклады в школе — о Блоке, о Бальмонте, находил время учиться с той же уверенностью, что и раньше, находил время на работу дома и для дома.

Но настоящей моей привязанностью, определявшей все мое поведение, — было чтение книг вместе со своим новым школьным товарищем Сергеем Воропановым, головастым крепьшом, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению. И не только к чтению. Сережа Воропанов понял истинный смысл моей игры в фантики, и сам отдался этой игре с увлечением.

Мы отыгрывали роман за романом — в полном беззвучии.

Здесь же мы отработали и Мережковского — не его трилогию, а его публицистику. Здесь-то впервые прочел я "То, чего не было" Савинкова, прочел Куна и — всего Шекспира, Достоевского, Толстого. Читал или перечитывал все подряд от "Божественной Комедии" до капитана Маризтта — и давал всему свои оценки.

Мы вдвоем перевернули все библиотеки Вологды. Сережа читал помедленнее, но тоже неутолимо и жадно.

Сережа в 1923 году поступил в Лесной институт, кажется.

Мое знакомство с ним, дружба, душевное согласие были гораздо более бескорыстны, чем любое мое знакомство в юности.

Жизнь моя сложилась так, что я никогда не искал старых товарищей, и не потому, что боялся разочароваться, а потому, что меня всегда занимали новые мысли, новые события.

Я не верю в пользу возобновлять старых знакомств.

Да, думал я, четырнадцатилетний мальчуган, слушая, как отец упрекает мать за ее культурную отсталость, за ее "печные горшки", мать, знавшую наизусть Пушкина и Лермонтова — поэтов ненужных, по его мнению, для житейского успеха, в отличие от кумира русской провинции Некрасова; слушая, как он поучает сестру в вопросах семейного счастья, ссылаясь на свой пример.

Я думал так: "Да, я буду жить, но не только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету".

Ты верил в Бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность, я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру — я карьеру делать не буду — безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться, я буду ходить в тряпках, в купленном на казенное жалованье.

Ты жил на подачки, я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я сделался общественным деятелем, я буду только опровергателем. Ты любил передвижников, я их буду ненавидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге — я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства, я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи, я их буду любить.

Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем — то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство, и ребенок не попадет в руки такого самодура, как ты.

Ты хочешь известности — я предпочитаю погибнуть в любом болоте.

Ты любишь хозяйство — я его любить не буду.

Ты хочешь, чтобы я стал охотником, — я в руки не возьму ружья и не зарезу ни одного животного.

Я уехал, но приезжал еще раз после лагерного срока, и говорил с отцом, не скрывая своей судьбы.

— Мы ведь отцу не говорили, — сказала мама. — Просто сказали, что ты — на Севере.

— Напрасно не говорили. Разве я — убийца? Вор?

— Прежде чем заниматься политикой, — сказал миролюбиво отец, — надо получить специальность, окончить высшее учебное заведение. Получай специальность и тогда смело принимай участие, — как бы для себя и про себя сказал отец, глядя или, вернее, — не глядя в сторону, — куда глядеть, ему было совершенно все равно...

— Ну, — столь же миролюбиво ответил я, — не всегда это возможно.

— Я тоже был на Севере, — продолжал свою мысль отец. — В молодости. Как и ты. Учителем работал полтора года.

— Мой Север, — жестко сказал я, — это тюрьма, каторга.

И мы расстались навсегда.

Отец умер через год после этого разговора. Не потому, что судьба сына сказалась на его нравственных силах, а случайно заболел третьей в жизни крупозной пневмонией — болезнью, приводящей в могилу, из которой по тем дофлеминговым временам не было возврата. Два раза отец возвращался на землю из-за своего жизнелюбия, жизнестойкости. В третий раз — не вернулся...

XLVI

Вскоре после инцидента в кабинете заведующего РОНО, в семье было устроено совещание насчет моей судьбы, где мне впервые было дано право голоса.

Совещание это проводилось на кухне, где на русской печи сидели обе сестры, на табуретке сидел главный герой —

я, отец в перешитом из братниной солдатской шинели пальто с хлястиком, и около шестка стояла мать с привычным ухватом в руке. Совещание это проводилось на печке потому, что топить всю квартиру дров не хватало, сестрина комната не топилась. Печка же отапливала и спальню родителей, где на сундуке было и мое место.

Фитиль лампадного масла на блюдечке горел и освещал эту сцену — сестра Наташа, передвигаясь, поправляла это мерцающее пламя, наводила его дрожащий свет на лица говорящих.

На этом совещании мне предложено было выбрать (ты уже взрослый — конечно, мне было шестнадцать лет) два пути — светский и духовный.

— Если хочешь, я напишу Введенскому и устрою тебя на учебу по духовной линии. В обновленчестве есть и свои интеллигенты. Надо только иметь желание — достичь можно всего, — повторил свою любимую формулу отец, не веривший, как мы знаем, в природные болезни вестибулярного аппарата.

На этом совещании я категорически отказался от отцовской карьеры в любой ее форме, что, разумеется, не могло не огорчить отца, да и мать тоже, которая почему-то допускала для меня и священство.

Зато сестра Наташа не скрывала восторга — обнимала меня, глаза ее блестели от слез.

После этого темп моей жизни ускорился. Быстро были проданы два ружья брата Сергея — отец все тянул продажу, надеясь, что я вступлю наконец в права наследства, возьмусь за централку Зауэра с кучностью боя невероятной.

Моя холодность при расставании с семейным оружием тоже ему не понравилась.

На эти деньги я был экипирован — мне были сшиты две рубашки мадаполамовых, перешито пальто дяди Андруши и куплен железнодорожный билет до Москвы.

Никаких советов, никаких пожеланий на прощанье ни отец ни мать не дали мне. Впрочем, это было в традициях семьи.

Осенью 1924 года я сел в вагон Вологда-Москва. В одном вагоне ехала сестра мамы – тетка моя, Екатерина Александровна, работавшая в сетунской больнице под Москвой. Тетка была бестужевкой, с отцом она дружила в молодости и отец доверил мою судьбу в эти надежные прогрессивные руки.

Был НЭП, расцвет НЭП'а, со всем его коварством, несбыточными надеждами, и разочарованиями, и неожиданностями.

Школа не привила мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делал открытия сам, продвигаясь зигзагами – от Хлебникова к Лермонтову, от Баратынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку. Единственным исключением был кумир русской провинции Некрасов, но Некрасов ведь поэт-прозаик, лишенный многого, что было у Пушкина. Никак не наследник Пушкина.

Наследником Пушкина не был и Лев Толстой. Нет писателя в России более далекого от пушкинского света, от пушкинской формы. Белинский с его страстным убеждением в том, что стихи можно читать, как прозу, и далее Чернышевский, Добролюбов – все это воспитывала, в мальчике не стихи, а нечто другое.

Стихи – это очень тонкая механика, особый способ познания жизни, даже не познания, а существования, общения.

В школе моей не было человека, старшего товарища, который открыл бы мне стихи, поэта. Это достигается запойным чтением, подчеркиванием фонетических обстоятельств возникающей мысли, мысли особенно еще не превратившейся в мысль, и в то же время могучей, неодолимой.

Вологда моей юности могла мне предложить только Некрасова.

Отец не понимал и не любил стихов, справедливо боясь их секретного яда, их замедленного действия, взрыва в самый неподходящий момент, порабощения беспредельного.

Так же, в сущности, относился отец и к художественной литературе, с недоверием, как к пустому чтению.

Для отца чрезвычайное значение имели авторитеты, разумеется, не авторитеты в школьном смысле, а принципы и вкусы какого-то определенного круга, к которому он сам принадлежал.

Так, Жюль Верн и Уэллс считались полезным чтением, хотя это плохие, скучные писатели. К Александру Дюма он относился настороженно, а о существовании Дюма-сына и не подозревал.

Джек Лондон, Киплинг — все это допускалось, но, разумеется, считалось ниже Майн-Рида.

В один какой-то день, переноса с чердака в чулан всякий хлам, я наткнулся на связку книг, которые просто стал читать сверху, не развертывая и не вскрывая. Я был поражен, увлечен и, конечно, взял эту связку в квартиру. Это были пожелтевшие листы, вот-вот готовые рассыпаться от желтизны, хрупкие странички. Хорошо еще, что бумага была тогда тряпичной, а при современной бумаге я бы не встретился с этим автором.

Это были пачки, несколько драгоценных стопок вовсе не разрезанных книг. Когда я сообразил, что книги не разрезаны — а это были приложения к журналу "Природа и люди", который издавал Сойкин, — журнал, который выписывал отец для моего старшего брата Валерия, гимназиста-старшеклассника, с начала столетия. В нашей семье я не видел книг этого писателя и понял, что цензура отца просто конфисковала опасную контрабанду на почте, а брат так и не прочел этих драгоценных книг.

Первым читателем был я — через десять лет, — ведь страницы-то были не разрезаны, готовы были рассыпаться в прах.

Это были приключения Шерлока Холмса — Конан Дойля.

В своей нелюбви к изящной литературе отец причислил Конан Дойля по неосведомленности к многочисленным выпускам издательства "Развлечение" — тому, что вошло в историю литературы, как "пинкертоновщина". Нат Пинкертон, Шерлок Холмс, Ник Картер, Этель Кинг — мемуары сыщика.

Действительно, и в школе и в общежитии книжки эти бездарные читались запоем и покупались даже вскладчину. Вот к ним-то и причислил отец Конан Дойля.

Никак он мне не хотел поверить, что Конан Дойль — одно, а Ник Картер — другое. Все это казалось отцу отговоркой, оскорбляющей его — высшего цензора чтения своих сыновей...

Ясно было, что Конан Дойля я читать не переставал. Напротив, я прочел тогда немало его произведений. И сейчас считаю его большим писателем.

"Моби Дика" в наше время не было.

XLVII

Школа не могла и не хотела дать больше того, чем давала. Программы были сокращены, девятый класс отсечен, куцее наше образование в единой трудовой школе закончилось на восьмом классе. Программа гимназии была значительно урезана. К тому же Дальтон-план, бригадный метод и все модные эксперименты тех лет именно на провинциальной школе отразились очень жестоко.

Что я учил? Чему меня учили? Все было случайно, зависело от случайно попавшего в город, завязшего преподава-

теля — даже профессора, как Веселовский. Но Веселовский был привлечен на рабфак, вологодский рабфак, а не к нам, хотя у нас учился его сын, мой одноклассник. Веселовский для трудовой школы был слишком жирным пирогом. Все его время было занято на рабфаке.

У нас был случайный географ Ельцов — хороший географ, но что нам география, когда мы собирались перевернуть мир.

Очень много сделала преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина, много она вложила беззаветного труда именно в это смутное время. Куклина пыталась привить какие-то важные основы в понимании предмета, познакомить с Бальмонтом, Блоком. Литературно-драматический кружок при ее шефстве существовал в школе ряд лет. Я пользовался расположением этой преподавательницы.

Не раз мне случалось писать письменные работы по литературе за себя и за своего друга Германа Щеглова — я успевал, и обе работы, написанные мной же, но разными почерками, получали зачеты по высшему балу, т.е. весьма удовлетворительно.

Этот способ использовал я последний раз на приемных экзаменах в Текстильный институт, куда я держал вместе со своим приятелем Кальварским, и за зачетное время действительно написал две разных работы, и обе получили "вуд".

Потом, поскольку у меня успешно шла сдача приемных испытаний в Московский университет — на факультет советского права, я взял документы из Текстильного института обратно.

Куклина запомнилась мне и еще по одному случайному поводу.

В классе заспорили, кто выше, Шеллинг или Гегель, — заспорили весьма бестолково. Спор был не о преимуществах философских систем, а пари — каких взглядов держится Екатерина Михайловна.

— Спроси ее, — настаивали ребята. А я был секретарем драмкружка.

— Так спросите сами!

— Нам она не скажет.

Я решительно подошел к Екатерине Михайловне и спросил: — Кто вам, Екатерина Михайловна, нравится больше — Шеллинг или Гегель?

— Вы это для себя спрашиваете?

— Да, — сказал я, краснея.

— Шеллинг, — сказала Екатерина Михайловна тихо и проникновенно, и я почувствовал, что она отвечает на какой-то важный для нее самой вопрос.

Победа гегелевских традиций уже гремела во всех совпартшколах страны.

Вологда была тихим провинциальным городом, где даже река текла вспять в определенное время года, где любимым исконным развлечением горожан была охота за белками, собирающая густую толпу убийц всех возрастов и всех общественных рангов.

Где на пожары скакали три части — каждая по цвету коней, грохоча по бульжникам города, с трубачом, не уступающим по звукам трубам Страшного Суда в Софийском соборе, построенном Иваном Грозным.

Кедровские расстрелы разорвали вологодскую тишину.

Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть. Поэтому в дальнейшем меня мало трогали истеричность Кириллова и метания Ивана Карамазова. И уж вовсе казались надоевшими, ненужными, а главное — очень плохо написанными, многочисленные притчи Льва Толстого.

Бог уже был мертв для меня. Гальванизация Достоевским всех этих проблем спасти ничего не могла, а рассуждения о гибнущих невинных детях, как аргумент существования Бога, и вовсе кощунственны.

Вообще же Достоевский самый антирелигиозный русский писатель.

Потеря веры совершилась как-то мало-помалу, вдруг оказалось, что мешок Санта-Клауса пуст. Разоблачение сестрами рождественского Деда Мороза на меня не произвело никакого впечатления. Не Санта-Клаус, так мать или отец. В рождественских подарках не было для меня проблемы.

Очевидно, у человека существует какой-то запас религиозных чувств — тоже вроде шагреновой кожи тратится повседневно. И так как тема — жизнь всех возрастов, в этой возросшей сложности жизни нашей семьи для Бога у меня в моем сознании не было места. И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Крайнем Севере.



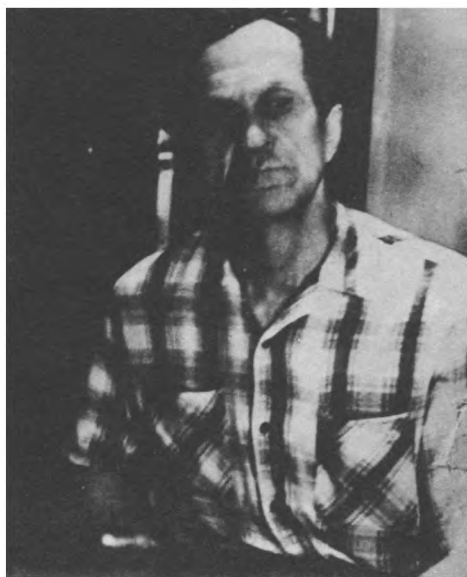
**Дом в Вологде, где родился и рос В.Т. Шаламов
(квартира семьи — в нижнем этаже слева)**



1923. Из групповой фотографии Вологодской гимназии



Профсоюзная карточка 1954





1966



1982



Похороны В. Шаламова на Кунцевском кладбище



В гробу



Первоначальный вид могилы



Надгробный памятник

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ВАРЛАМА НАЗАРОВА, СОСТАВЛЕННОЕ
ИМ САМИМ

Н родился 18 июня 1907 года в городе Вологде. Отец мой священник, православный миссионер на Алеутских островах, в 1905 году вернулся в 1905 году. Мать - учительница.

В 1923 году окончил школу II ступени в Вологде и переехал в Москву, где я живу до сего времени. Работал на кожевенном заводе в Кунцево дубильщиком, а в 1926 году поступил в Московский университет на юридический факультет - факультет советского права, как он тогда назывался. Встретившись в университете со своими одноклассниками думал по крайней мере, перевернуть мир.

Участвовал в событиях 1927-1928 гг. на стороне оппозиции. В феврале 1929 года арестован в одной из наших типографий. При допросе отказался от показаний. Был заключен в одну из московских тюрем, к трем годам концентрационных лагерей и отбывал срок в 40-50 дней на островной Урал в Свердловское отделение Удмуртской автономной области (Белоземские лагеря свободы назначения).

После 16 месяцев полной изоляции от освобождения, но освобожден не был. Мой лагерный приговор был первым лагерным приговором оппозиционеру.

В 1930 году вместе с И. Визменфельдом - одним из предшественников оппозиционеров, явился протест в связи с положением жизни в лагерях.

В 1931 году был досрочно освобожден с восстановлением во всех правах.

Одним из лагерных политруков - командир бригады в течение протеста в Москве. В течение протеста жил в доверии.

Первая страница рукописи "Краткое жизнеописание"

и оппозиции (срок 30. 000 лет)
Мать переехала из Вологды
в Москву в 1923 году

В 1923 году окончил школу II ступени в Вологде и переехал в Москву, где я живу до сего времени. Работал на кожевенном заводе в Кунцево дубильщиком, а в 1926 году поступил в Московский университет на юридический факультет - факультет советского права, как он тогда назывался. Встретившись в университете со своими одноклассниками думал по крайней мере, перевернуть мир.

Участвовал в событиях 1927-1928 гг. на стороне оппозиции. В феврале 1929 года арестован в одной из наших типографий. При допросе отказался от показаний. Был заключен в одну из московских тюрем, к трем годам концентрационных лагерей и отбывал срок в 40-50 дней на островной Урал в Свердловское отделение Удмуртской автономной области (Белоземские лагеря свободы назначения).

После 16 месяцев полной изоляции от освобождения, но освобожден не был. Мой лагерный приговор был первым лагерным приговором оппозиционеру.

В 1930 году вместе с И. Визменфельдом - одним из предшественников оппозиционеров, явился протест в связи с положением жизни в лагерях.

В 1931 году был досрочно освобожден с восстановлением во всех правах.

Одним из лагерных политруков - командир бригады в течение протеста в Москве. В течение протеста жил в доверии.

Листок из той же рукописи

РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ

ВОРИСГОФЕР

По вечерам, за столом, под большой керосиновой лампой-молнией читали — каждый свое, а иногда кто-нибудь читал вслух. За этим же столом делал я и свои школьные уроки.

Отец говорил с нами мало, но иногда поворачивал к свету книгу, которую я читал.

— Мережковский. Воскресшие боги. У нас ведь есть в шкафу — в другом издании, черная обложка.

— Это не Воскресшие боги.

— А что же?

— Это — статьи.

— Что еще за статьи? — И отец взял у меня книгу из рук.

— Не мир, но меч. Это тебе, пожалуй, рано.

Мне было десять лет.

В другой раз большая пестрая обложка привлекла внимание отца.

— А это?

— Один французский автор.

— А именно?

— Понсон дю Террайль.

— Название? — Отец уже сердился.

— Похождения Рокамболя.

Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено приносить Рокамболя в квартиру, квартиру — где, подобно Рокамболю, изгонялся Пинкертон и Ник Картер и пользовался почетом Конан Дойль.

Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось дочитывать у кого-то из товарищей.

Но жизнь шла, и вот отца посетил наш учитель географии Владимир Константинович, мой классный наставник.

В нашей квартире, из-за большой семьи, тесноты, двери закрывались плохо, и я легко услышал разговор.

“Способности вашего сына очень большие, Тихон Николаевич. Надо не прозевать времени — открыть ему дорогу к книге”.

— Резон, — сказал отец. Думал и решал он, как всегда, недолго, а признание, успех — были для отца аргументом веским, чуть не единственным.

Вскоре я был отведен к /... /,* знаменитой вологодской ссыльной даме — седой старушке — хозяйке большой библиотеки.

Седая дама, наведя на меня пенсне, как лорнет, то приближая, то удаляя, внимательно меня оглядела...

— Это — кто же?

— Это сын Тихона Николаевича.

— Тихону Николаевичу, кажется, не везет с сыновьями.

— Это — младший.

— А-а... Слыхала, слыхала. Ну, покажись, — рука дамы легла на мое плечо. — Сейчас я покажу тебе сокровища.

Дама встала с кресла бойко, прошла со мной в конец комнаты и откинула занавеску. Длинные ряды книжных полок уходили вглубь, в бесконечность. Я был взволнован, потрясен этим счастьем. Сейчас меня подведут к книгам и я буду перебирать, гладить, листать, узнавать. Я ждал, что хозяйка подведет мену к полкам, толкнет и я останусь тут надолго — на много часов, дней и лет.

*) В рукописи пропущено.

Но случилось не так.

— Ты должен читать путешествия? Да?

— Да.

— Майн-Рида?

— Я читал Майн-Рида.

— Жюль Верна?

— Я не люблю Жюль Верна.

— Ливингстона?

— Я читал Ливингстона.

— Стенли?

— Я читал Стенли.

— А Элиза Реклю? Человек и земля.

— Я читал Реклю.

— Хорошо, — сказала старушка. — Я знаю, что тебе дать. Я дам тебе Ворисгофера.

И кто-то незримый, скрытый в полках, сказал громко:

— Да! Да! Ворисгофер воспитывает характер.

Я осторожно взял Ворисгофера.

— А еще?

— Пока все. Через две недели прочтешь, не спеша. Запишешь содержание и расскажешь мне — или вот Николаю Ивановичу — если меня дома не будет. — Перст седой дамы был устремлен в сторону незримого в книжных полках.

Надо ли говорить, что я не был больше в этой общественной библиотеке.

Мой классный наставник Ельцов, оставивший в то время школу и ставший директором Вологодской Центральной библиотеки — дал мне билет в читальный зал и абонемент, и я читал там запоем все свободное время.

#

БЕРДАНКА

Мне исполнилось десять лет. По семейной традиции мальчику в этот день дарилось ружье — не тулка, не венская централка или бескурковое немецкое, а первое ружье: русская берданка шестнадцатого калибра.

Но я, который на все охоты ездил с величайшим неудовольствием, и к позору всей семьи — и мужчин и женщин — не умел стрелять, — как я приму этот подарок.

— Отец хочет тебе на день рождения подарить берданку, собственное ружье, — сказала мама.

— Мне не надо ружья, — сказал я угрюмо.

Все замолчали.

Отец, которого эта обидная неожиданность тревожила недолго, уже нашел официальный выход, вполне "поблизити".

— Хорошо. Мы будем совершать подвиги, а ты — их описывать. Договоримся.

— Договоримся, — сказал я. Самое главное, чтобы отстали насчет ружья, а подарка, может быть, и не надо никакого.

В раннем детстве мне дарили игрушки — мечи, кинжалы, пистолеты — которые мне не нравились, оловянные солдатики.

Лисичка, меховая лисичка с поющей пружинкой и плюшевый медведь — много лет хранил я их в своих вещах.

Но уже давно я хранил в своем волшебном ящике множество бумажек от конфет, — портреты генералов — Рузский, Брусиллов, Иванов, Алексеев, Козьма Крючков, повто-

ренные тысячей конфетных зеркал — все это не имело для меня никакого значения. Это мог быть и Толстой. Тарас Бульба и Андрей Болконский, и Пьер Безухов, и Симурден из Девяносто третьего года Гюго. Я разыгрывал в лицах все пьесы, все романы, все повести, которые я прочел, все кинокартины, которые я просмотрел. И родители не могли бы мне сделать подарка лучше.

Я разыгрывал сцены из Библии, весь этот набор картинок, сложенных конвертиком конфетных обложек — это и был мой волшебный мир, о котором не знали родители.

Любой прочитанный роман — я должен был проиграть — один, шепотом.

Никто этого не знал и не узнал никогда.

Для этой Аргонды не нужно было даже одиночества.

А из игрушек — лисичка и медвежонок. А теперь берданка, чтобы перестрелять своих прежних друзей.

И Детство Темы Гарина я тоже проиграл своими конфетными бумажками и только тогда (а не в чтении) заплакал, жалея Жучку.

У меня не было Жучки. Собака была явно отцовской, братишки. На меня "Орест" или "Скорый" и смотреть не хотел, когда начинали собираться на охоту, а только выли, лаяли и по пятам ходили за братом.

Как вологодская кружевница шьет по узору не импровизируя, так я по узору романа, фильма переигрывал все дома.

И "Охотники за скальпами" и "Рокамболь", "Христос и Антихрист" и "Война и мир" — все проигрывалось так.

Это была моя тайна.

Передовых статей и вообще статей таким способом усваивать было нельзя — все это относилось только к художественной литературе.

Никто не мог мне подарить ничего более чудесного, чем мой волшебный ящик, который я тогда вовсе не называл

волшебным ящиком, а просто недоумевал, как старшие — родители, родственники, братья, сестры и товарищи по школе — не могут понять простой механики этого превращения — этот театр, который надо было только шептать. Меня не подслушивали и не следили, что мне шепталось.

А шептался просто ход романа в моем пересказе — герои встречались друг с другом, спорили, сражались, искали правду, защищали животных.

Эта игра касалась только романов. Я не играл обертками конфет в нашу семью, в самого себя.

Зачем мне был такой подарок, как берданка?

Я не помню себя неграмотным. Я читаю и пишу печатными буквами с трех лет.

Отец не забыл разговора. 5 июня 1917 года отец мне вручил большую толстую тетрадь в золотом переплете с золотым тиснением — "Дневник Варлама Шаламова".

Подарок был вполне в стиле, в характере, в духе отца.

Немножко "паблисити", немножко уважения к собственному мнению десятилетнего сына (отказ от берданки) — оригинально, можно показать гостям обложку, конечно, самому прочесть запись и заглянуть в душу сыну. Это не какой-нибудь альбом для романсов и мелодекламаций, которыми увлекалась Вологда тех лет. Не мещанство — факты, цифры, сбор документов, умственная тренировка. Словом, отец был доволен своим подарком.

Я же в этом парадном дневнике записал, принуждая себя, пять-шесть страниц. Года за два до этого в общей тетради я уже вел такой дневник — вел и уничтожил, сжег. Мои романы, мои исследования символизма и бессмертия, мои споры с Мережковским были записаны в других тетрадях, неизвестных отцу.

Конечно, несколько страниц я записал — для отца, клеил несколько газетных вырезок, прокламаций. Написал

стихотворение "Пишу дневник", которое было отцом просмотрено весьма неуверенно — он ничего не понимал в стихах.

Но подошел восемнадцатый год, и дневник был забыт, отложен в долгий ящик. Забыт и мной, и отцом. Хранился у сестры, конечно сожжен среди прочих бумаг после моего ареста.

Сколько моих следов в жизни уничтожено огнем — трусливыми руками родственников.

#

МОНАХ ИОСИФ ШМАЛЫЦ

(Продолжение рассказа "Крест")

Свой крест отец разрубил ошупью на глазах матери, язычник и шаман, и наследник шаманов, уничтожающий Бога собственными руками, как эскимос, зырянин, пермяк, чья кровь не разжижена никакой посторонней кровью от иной цивилизации, с эритроцитами, несущими мир, красоту, добро. Этих эритроцитов не было в шаманской крови отца.

Действие удара топором по кресту было необычайным. С самого начала НЭП'а мать безуспешно пыталась связаться с Америкой, Аляской, с Сизтлом, где двенадцать лет прослужил еще в прошлом веке отец.

С начала НЭП'а государство стало торговать на золото по ценам царского времени, лишь бы не керенки, лишь бы не бумажки. — Государственные магазины открыли товары, которым позавидовал бы сам Пантелеев — хозяин лавки, где мама брала на книжку и где только два раза в год рассчитывались пенсионным американским золотом — такие магазины тоже были открыты.

Они принимали и валюту — но, разумеется, не бубенчик батьки Кныша, а — доллары, доллары, фунты, франки, иены.

И вот вместо писем, вместо известий о старых знакомых с острова Кадьяк из Аляски вдруг пришел чек на пять долларов, чек на имя мамы. Вскоре пришло и письмо.

На острове Кадьяк был монастырь. Иосиф Шмальц сменил отца, монах Иосиф Шмальц. Он не знал отца, но работал на его месте. Вот эти пять долларов и были собраны среди

обращенных алеутов на Кадьяке. Рассказать о знакомых отца монах сумел немного, но он сделал самое главное — послал деньги, спас отца. Шмальц писал, что в дальнейшем будет собирать, посылать, помогать, в этих, разумеется, центов, долларов пределах.

Государство самым охотным образом приняло этот чек, выдало матери квитанцию, и это решило судьбу и матери и отца на целый ряд лет вперед.

Обнаружилась тогда интересная вещь, о которой мать сказала лишь на ухо, — доллара, если его тратить на муку, хватает очень надолго.

Родители мои воскресли. Монах Иосиф Шмальц собирал и еще несколько раз, но мало раз, увы, вскоре он умер, обеспечив моей матери и отцу бессмертие. Даже фотографии мать туда посылала и получала.

Кончилась золотоскупка и началось царство Торгсина. Торгсин продолжался очень долго, чуть не до войны, когда отца и матери уже не было в живых и надобности в Торгсине не было.

От матери осталось даже живое золото — разрубленный кусок креста, цепочка, слоник какой-то золотой. Мать разумно пользовалась сначала квитанциями Торгсина, а золото держала в резерве. Валютных бурь она не боялась.

Вот этот разрубленный крест и эти доллары и спасли отца и мать.

Хотя у нас была большая семья, но она не выполнила главного назначения многодетных семей — пенсионного обеспечения стариков. В нашей семье дети не заплатили долга родителям. Валерий, старший сын, отказался от отца публично. Галя, старшая сестра, свой долг долго выполняла только символической посылкой винограда из Сухуми, винограда, неизменно гнившего в дороге. Никаких денег ни Галя, ни Валерий никогда маме не посылали.

Сергей был убит в 1920 году. Я посылал только тогда, и то в очень скромных пределах, когда не сидел в тюрьме.

Всю помощь вынесла бы Наташа, но Наташа, которую бросил алкоголик муж с двумя детьми, Наташа — медсестра с нищенским окладом, помочь не могла.

Вологжане — не такие люди, чтобы собирать бывшему попу, да еще обновленческой церкви.

Причины сохранения жизни, уверенности в своих старческих силах — в этих нищенских посылках, которые, если в них разобраться, вовсе не нищенские — а могут реально кормить реальных людей.

Мама, испытав всякое, поступала крайне расчетливо, крайне экономно. Существование отца и матери не зависело от детей.

Зачем я это все записываю? Я не верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет. Записываю просто так, чтобы поблагодарить давно умершего монаха Иосифа Шмальца и всех людей, с которых он собирал эти деньги. Там не было никаких пожертвований — просто центы из церковной кружки.

Я, не верящий в загробную жизнь, не хочу оставаться в долгу перед этим неизвестным монахом.

Я мог бы, наверно, и подробнее осветить эту историю, но мой архив сожжен в годы войны — где хранилось все, что осталось мне от отца и матери.

#

БЕЛКА

Лес окружал город, входил в город. Надо перебраться на соседнее дерево — и ты уже в городе, на бульваре, а не в лесу.

Сосны и елки, клены и тополя, вязы и березы — все было одинаковым — и на лесной поляне и на площади "Борьбы со спекуляцией", как только что переименовали рыночную площадь города.

Когда белка смотрела издали на город, ей казалось, что город разрезан зеленым ножом, зеленым лучом пополам, что бульвар — это зеленая речка, по которой можно плыть и доплыть в такой же зеленый вечный лес, как и тот, в котором жила белка. Что камень скоро кончится.

И белка решилась.

Белка перебиралась с тополя на тополь, с березы на березу — деловито, спокойно. Но тополя и березы не кончались, а уводили все глубже в темные ущелья, на каменные поляны, окруженные низкорослыми кустами и одинокими деревьями. Ветки березы были гибче, чем тополиные — но белка все это знала и раньше.

Скоро белке стало ясно, что путь выбран неверно, что лес не густеет, а редет. Но возвращаться было поздно.

Надо было перебежать эту серую мертвую площадь — а за ней снова лес.

Но уже тявкали собаки, прохожие задирали головы.

Хвойный лес был надежен — броня сосен, шелк елей. Шелест тополиных листьев был предательским. Березовая

ветка держала крепче, подольше, и гибкое тело зверька, раскачиваясь на весу, само определяло границу напряжения ветки — белка опускала лапы, летела в воздух — полуптицей, полужверем. Деревья научили белку небу, полету. Выпустив ветки, растопырив когти всех четырех лапок, белка летела, лоя опору более твердую, более надежную, чем воздух.

Белка и впрямь была похожа на птицу, была вроде желтого ястреба, облетающего лес. Как завидовала белка ястребам в их нездешнем полете. Но птицей белка не была. Зов земли, груз земли, стопудовый свой вес белка чувствовала поминутно, чуть начинали слабеть мышцы дерева и ветка начинала сгибаться под телом белки. Нужно было набирать силы, вызвать откуда-то изнутри тела новые силы, чтобы вновь прыгнуть на ветку или упасть на землю и никогда не подняться к зелени крон.

Щуря свои узкие глаза, белка прыгала, цеплялась за ветки, раскачивалась, примерялась, не видя, что за ней бегут люди.

А на улицах города уже собиралась толпа.

Это был тихий, провинциальный город, встававший с солнцем, с петухами. Река в нем текла такая тихая, что иногда течение вовсе останавливалось — и вода текла даже вспять. У города было два развлечения. Первое — пожары, тревожные шары на пожарной каланче, грохот пожарных телег, пролетающих по булыжным мостовым, пожарных команд лошадей гнедых, серых в яблоках, вороных — по цвету каждой из пожарных частей. Участие в пожарах — для отважных, и наблюдение — для всех прочих. Воспитание смелости — для каждого; кто мог ходить, взяв детей, оставив дома только паралитиков и слепцов, шли "на пожар".

Вторым народным зрелищем была охота за белкой — классическое развлечение горожан.

Через город проходили белки, проходили часто — но всегда ночью, когда город спал.

Третьим развлечением была революция — в городе убивали буржуев, расстреливали заложников, копали какие-то рвы, выдавали винтовки, обучали и посылали на смерть молодых солдат. Но никакая революция на свете не заглушает тяги к традиционной народной забаве.

Каждый в толпе горел желанием быть первым, попасть в белку камнем, убить белку. Быть самым метким, самым лучшим стрелком из рогатки — библейской пращи — брошенной рукой Голиафа в желтое тельце Давида. Голиафы мчались за белкой, свистя, улюлюкая, толкая друг друга в жажде убийства. Здесь был и крестьянин, привезший на базар полмешка ржи, рассчитывающий выменять эту рожь на рояль, на зеркала — зеркала в год смертей были дешевы — и председатель ревкома железнодорожных мастерских города, пришедший на базар ловить мешочников, и счетовод Всепотребсоюза — и знаменитый с царского времени огородник Зуев, и красный командир в малиновых галифе — фронт был всего в ста верстах.

Женщины города стояли у палисадов, у калиток, выглядывали из окон, подзадоривали мужчин, протягивали детей, чтобы дети могли рассмотреть охоту, научиться охоте...

Мальчишки, которым не было дозволено самостоятельное преследование белки — и взрослых хватало, подтаскивали камни, палки, чтоб не упустить зверька.

— На, дяденька, ударь.

И дяденька ударял и толпа редела и погоня продолжалась.

Все мчались по городским бульварам за рыжим зверьком потные, краснорожие, охваченные страстной жадной убийства хозяева города.

Белка спешила, давно разгадав этот рев, эту страсть.

Надо было спускаться, карабкаться вверх, выбирать сук, ветку, размерить полет, раскачаться на весу, лететь...

Белка разглядывала людей, а люди — белку. Люди следили за ее бегом, за ее полетом, толпа опытных привычных убийц.

Те, что постарше — ветераны провинциальных боев, развлечений, охот и сражений — и не мечтали угнаться за молодыми. Поодаль, двигаясь вслед за толпой, опытные убийцы давали здравые советы, толковые советы, важные советы тем, кто мог мчаться, ловить, убивать. Эти уже не могли мчаться, не могли ловить белку. Им мешала одышка, жир, полнота. Но опыт у них был большой и они давали советы — с какого конца забегать, чтобы перехватить белку.

Толпа все росла — вот старики разделили толпу на отряды, на армии. Половина ушла в засаду, на перехват.

Белка увидела выбегающих из переулка людей раньше, чем люди увидели ее, и все поняла. Надо было спускаться, перебежать десять шагов, а там снова деревья бульвара, и белка еще покажет себя этим псам, этим героям.

Белка прыгнула на землю, кинулась прямо в толпу, хотя навстречу летели камни, палки. И проскочив сквозь эти палки, сквозь людей — бей! бей! не давай дыхнуть! — белка оглянулась. Город настигал ее. Камень попал ей в бок, белка упала, но тут же вскочила и бросилась вперед. Белка добежала до спасения и вскарабкалась по стволу и перебежала на ветку, на ветку сосны.

— Бессмертная, сволочь!

— Теперь надо окружать у реки, у переката!

Но окружать было не надо. Белка перебиралась по веткам еле-еле, и это сразу заметили и зарычали.

Белка раскачалась на ветке, последний раз напрягла силы и упала прямо в воющую хрипящую толпу.

В толпе возникло движение, как в закипающем котле, и как в котле, снятом с огня, движение это затихло, и люди стали отходить от того места на траве, где лежала белка.

Толпа быстро редела — ведь каждому было нужно на работу, у каждого было дело к городу, к жизни. Но ни один не ушел домой, не взглянув на мертвую белку, не убедившись собственными глазами, что охота удачна, долг выполнен.

Я протискался сквозь редкую толпу поближе, ведь я тоже улюлюкал, тоже убивал. Я имел право, как все, как весь город, все классы и партии...

Я посмотрел на желтое тельце белки, на кровь, запекшуюся на губах, мордочке, на глаза, спокойно глядящие в синее небо тихого нашего города.

#

В ЛАГЕРЕ

У СТРЕМЕНИ

Человек был стар, длиннорук, силен. В молодости он пережил травму душевную, был осужден как вредитель на десять лет, и был привезен на Северный Урал на строительство Вишерского бумажного комбината. Здесь оказалось, что страна нуждается в его инженерных знаниях — его послали не землю копать, а руководить строительством. Он руководил одним из трех участков строительства — наравне с другими арестантами-инженерами — Мордухай-Болтовским и Будзко. Петр Петрович Будзко не был вредителем. Это был пьяница, осужденный по 109 статье. Но для начальства "бытовик" был еще удобней, а для товарищей Будзко выглядел как заправская пятьдесят восемь, пункт семь. Инженер хотел попасть на Колыму. Берзин, директор Вишхимза сдавал дела, уезжал на золото и набирал "своих". На Колыме же ожидалась кисельные берега и чуть не немедленно досрочное освобождение. Покровский подавал заявление, и не понимал, почему Будзко берут, а его нет, и мучась в неизвестности, решил добиться приема у самого Берзина.

Через тридцать пять лет я записал рассказ Покровского.

Этот рассказ, этот тон, Покровский пронес через всю свою жизнь большого русского инженера.

— Наш начальник был большой демократ.

— Демократ?

— Да, знаете, как трудно попасть к большому начальнику. Директору треста, секретарю обкома? Записи у секретаря. Зачем? Почему? Куда? Кто ты таков?

А тут ты бесправый человек, арестант, и вдруг так просто видеть такое высокое да еще военное начальство. Да еще с такой биографией — дело Локкарта, работа с Дзержинским. Чудеса.

— К генерал-губернатору?

— Вот именно. Могу вам сказать не таясь, не стыдясь — я сам кое-что сделал для России. И в своем деле я известен по всему миру, думаю. Моя специальность — водоснабжение. Фамилия — Покровский, слышали?

— Нет, не слышал.

— Ну, можно только смеяться. Чеховский сюжет — или, как теперь говорят — модель. Чеховская модель из рассказа "Пассажир первого класса". Ну, забудем, кто вы и кто я. Начал я свою инженерскую карьеру с ареста, с тюрьмы, с обвинения и приговора на десять лет лагеря за вредительство.

Я проходил по второй полосе вредительских процессов — первую — шахтинцев — мы еще клеймили, осуждали. Нам досталась вторая очередь — тридцатый год. В лагеря я попал весной тридцать первого года. Что такое шахтинцы? Чепуха. Отработка эталонов, подготовка населения и кадров своих к кое-каким новинкам, которые стали ясны в тридцать седьмом. Но тогда, в тридцатом году, десять лет был срок оглушительный. Срок — за что? Бесправие оглушительно. Вот я уже на Вишере, строю что-то, возвожу. И могу попасть на прием к самому главному начальнику.

У Берзина не было приемных дней. Каждый день ему подавали лошадь к конторе — обычно верховую, а иногда коляску. И пока начальник садился в седло — принимал любых посетителей из заключенных. Десять человек в день — без бюрократизма — хоть блатарь, хоть сектант, хоть русский интеллигент. Впрочем, ни блатаря, ни сектанта с просьбами к Берзину не обращались. Живая очередь. Первый день я пришел, опоздал — был одиннадцатый, и когда

десять человек прошли, Берзин тронул коня и поскакал на строительство.

Я хотел обратиться к нему на работе — товарищи отсоветовали, как бы не испортить дела. Порядок есть порядок. Десять человек в день, пока начальник садится в седло. На другой день я пришел пораньше и дождался. Я попросил взять меня с собой на Колыму.

Разговор этот помню, каждое слово.

— А ты кто? — Берзин отвел лошадиную морду рукой, чтобы лучше расслышать.

— Инженер Покровский, гражданин начальник. Работаю начальником участка на Вишхимзе. Главный корпус строю, гражданин начальник.

— А что тебе надо?

— Возьмите меня с собой на Колыму, гражданин начальник.

— А какой у тебя срок?

— Десять лет, гражданин начальник.

— Десять? Не возьму. Если бы у тебя было три или там пять — это другое дело. А десять? Значит, что-то есть. Что-то есть.

— Я клянусь, гражданин начальник ...

— Ну ладно. Я запишу в книгу. Как твоя фамилия? Покровский. Запишу. Тебе ответят.

Берзин тронул коня. На Колыму меня не взяли. Я получил досрочное на этом же строительстве и выплыл в большое море. Работал везде. Но лучше, чем на Вишере, чем при Берзине — мне нигде не работалось. Единственная стройка, где все делалось в срок, а если не в срок — Берзин скомандует и все является как из-под земли. Инженеры (заключенные, подумать только!) получали право задерживать людей на работе, чтобы перевыполнять норму. Все мы получали премии, на досрочное нас представляли. Зачетов рабочих дней тогда не было.

И начальство нам говорило — работайте от души, а кто будет работать плохо — отправят. На Север. И показывали рукой вверх по течению Вишеры. А что такое Север, я и не знаю.

.....
Я знал Берзина. По Вишере. На Колыме, где Берзин умер, я его не видел — поздно меня на Колыму привезли.

.....
Генерал Гровс относился с полным презрением к ученым Манхэттенского проекта. И не стеснялся высказывать это презрение. Одно досье Роберта Оппенгеймера чего стоило. В мемуарах Гровс объясняет свое желание получить генеральский чин раньше назначения начальником Манхэттенского проекта. "Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных".

Берзин относился с полным презрением к инженерам. Все эти вредители — Мордухай-Болтовский, Покровский, Будзко. Заключение инженеры, строившие Вишерский комбинат. Выполним к сроку! Молния! План! Эти люди не вызывали у начальника ничего кроме презрения. На удивление, на философские удивления бездонностью, безграничностью унижения человека, распадом человека у Берзина просто не хватало времени. Сила, которая сделала его начальником, знала людей лучше, чем он сам.

Герои первых вредительских процессов — инженер Бояршинов, Иноземцев, Долгов, Миллер, Финдикаки бойко работали за "пайку", за смутную надежду быть представленными к досрочному освобождению.

Зачеток тогда еще не было, но уже было ясно, что необходима какая-то желудочная шкала для легкого управления человеческой совестью.

Берзин принял строительство Вишерского комбината в 1928 году. Уехал с Вишеры на Колыму в конце 1931 года.

Я, пробывший на Вишере с апреля 1929 года до октября 1931 года, застал и видел только берзинское.

Личным пилотом Берзина (на гидроплане) был заключенный Володя Гинце — московский летчик, осужденный за вредительство в авиации на три года. Близость к начальству давала Гинце надежду на досрочное освобождение, и Берзин при своем презрении к людям это хорошо понимал.

В своих поездках Берзин всегда спал, где придется — у начальства, разумеется, не стремясь обеспечить себя какой-то особой охраной. Его опыт подсказывал, что в русском народе любой заговор будет выдан, продан, добровольные доносчики сообщат даже о тени заговора — все равно. Доносчики эти обычно коммунисты бывшие, вредители или родовитые интеллигенты или потомственные блатари. Донесет, не беспокойтесь. Спите спокойно, гражданин начальник. Эту сторону лагерной жизни Берзин понимал хорошо, спокойно ездил и летал, спокойно спал, и был убит, когда пришло время, своим же начальством.

Тот самый Север, которым пугали молодого Покровского, существовал, еще как существовал. Север набирал силу, темп. Север-управление его было в Усть-Улсе при впадении Улса в Вишеру — там теперь нашли алмазы. Берзин тоже их искал, но не нашел. На Севере велись лесозаготовки — самая тяжелая работа для арестанта на Вишере. Колымские "разрезы", кайло колымских каменоломен, работа на шестидесятиградусном морозе — все это было впереди. Вишера сделала немало, чтобы могла быть Колыма. Вишера — это двадцатые годы, конец двадцатых годов.

На Севере — на его участках лесных Пеле и Мыке, Вае и Ветрянке, заключенные при "перегоне" — заключенные ведь не ходят, их "гоняют" — это официальный словарь — требовали связать руки за спиной, чтоб конвой не мог в дороге убить "при попытке к бегству". "Свяжите руки, тогда пойду. Составьте акт". Те, кто не догадался умолить

начальство связать себе руки — подвергались смертельной опасности. "Убитых при попытке к бегству" было очень много.

В одном из лагерных отделений блатари отнимали каждую посылку фраеров. Начальник не выдержал и застрелил трех блатарей. И выставил трупы в гробах на вахте. Трупы стояли три дня и три ночи. Кражи были прекращены, начальник снят с работы, переведен куда-то.

Аресты, провокационные дела, внутрилагерные допросы, следствия кипели в лагере. Огромная по штату "третья часть" набиралась из осужденных чекистов, проштрафившихся и прибывших к Берзину под спецконвоем, чтобы сейчас же занять место за следовательскими столами. Ни один бывший чекист не работал на работе не по специальности. Полковник Ушаков, начальник розыскного отдела Дальстроя, переживши Берзина вполне благополучно, был осужден на три года за превышение власти по 110 статье. Ушаков кончил срок через год, остался на службе у Берзина и вместе с Берзиным уехал строить Колыму. И немало людей сидели "за Ушаковым" в качестве меры пресечения — предварительный арест. Ушаков, правда, "не политик". Его дело — розыск, розыск беглецов. Был Ушаков и начальником режимных отделов на Колыме же, подписывал даже "Права з/к з/к" или, вернее, Правила содержания заключенных, которые состояли из двух частей:

I — Обязанности: заключенный должен, заключенный не должен.

II — Права: право жаловаться, право писать письма, право немного спать, право немного есть.

А в молодости Ушаков был агентом Московского уголовного розыска, сделал "ошибку" и получил трехлетний срок, и уехал на Вишеру.

Жигалов, Успенский, Песткевич вели большое лагерное дело против начальника III отделения (Березники). Дело

это — о взятках, о приписках кончилось ничем из-за твердости нескольких заключенных, просидевших под следствием, под угрозами по 3-4 месяца в лагерных изоляторах — тюрьмах.

Дополнительный срок был не редкость на Вишере. Такой срок получили Лазаренко, Глухарев.

За побег тогда сроки не давали, полагался изолятор трехмесячный с железным полом, — что для раздетых, в белье, смертельно зимой.

Я там арестовывался "органами" местными дважды, дважды прошел следствия, допросы.

Этот изолятор был страшен для опытных. Беглецы, блатари умоляли коменданта I отделения Нестерова не сажать в изолятор. Они никогда не будут, никогда не побегут. И комендант Нестеров, показывая волосатый кулак, говорил: "Ну, выбирай, плесна или в изолятор!"

— Плесна! — жалобно отвечал беглец.

Нестеров взмахивал рукой и беглец падал с ног, залитый кровью.

В нашем этапе в апреле 1929 года конвой напоил зубную врачу Зою Васильеву, осужденную по 58 статье по делу "Тихого Дона", и каждую ночь насиловал ее коллективно. В том же этапе был сектант Заяц. Отказывался вставать на поверку. Его избивал ногами конвоир каждую поверку. Я вышел из рядов, протестовал и той же ночью был выведен на мороз, раздет догола и стоял на снегу столько, сколько захотелось конвою. Это было в апреле 1929 года.

Летом тридцатого года в лагере на Березниках скопилось человек триста заключенных, активированных по 458 статье — на свободу из-за болезней. Это были исключительно люди Севера — с черно-синими пятнами, с контрактурами цинги, с кульями отморожений. Саморубов по 458 статье не освобождали, и до конца срока или до случайной смерти саморубы жили в лагерях.

Начальник лагерного отделения Стуков распорядился было прогуливать в целях лечения, но все транзитники отказались от прогулки — еще выздоровеешь, пожалуй, и снова попадешь на Север.

Да, Севером пугали Покровского не напрасно. Летом 1929 года — я первый раз увидел этап с Севера, большую пыльную змею, сползавшую с горы и видную далеко. Потом сквозь пыль засверкали штыки, потом глаза. Зубы там не сверкали, выпали от цинги. Растрескавшиеся сухие рты, серые шапки-соловчанки, суконные ушанки, суконные бушлаты, суконные брюки. Этот этап запомнился на всю жизнь.

Разве все это было не при Берзине, у стремени которого трепетал инженер Покровский?

Эта страшная черта русского характера — унижительное раболепство, благоговение перед каждым лагерным начальником. Инженер Покровский — только один из тысяч, готовых молиться, лизать руку "большому" начальнику.

— Что вам так понравилось на Важаихе?

— Как же. Нам дали постирать белье в реке. После тюрьмы, после этапа это большое дело. К тому же доверие. Удивительное доверие. Стирали прямо на реке, на берегу, и бойцы охраны видели и не стреляли! Видели и не стреляли!

— Река, где вы купались — в зоне охраны, в кольцевой опояске караульных вышек, расположенных в тайге. Какой же риск для Берзина давать вам стирать белье? А за кольцом вышек — другое кольцо таежных "секретов" — патрулей, оперативников. Да еще летучие контрольные патрули проверяют друг друга.

— Да-а-а.

— А знаете, какая последняя фраза, с которой меня провожала Вишера, ваша и моя, когда я освободился осенью тридцать первого года. Вы тогда уже стирали свое белье в речке.

— Какая?

– Прощайте. Пожили на маленькой командировке, поживите на большой.

Легенда о Берзине из-за его экзотического для обывателя начала – “Заговор Локкарта”, Ленин, Дзержинский! – и трагического конца – Берзин расстрелян Ежовым и Сталиным в конце тридцать седьмого года – разрастается пышным цветом преувеличений.

В локкартовском деле всем людям России надо было сделать выбор, бросить монету – орел или решка. Берзин решил выдать, продать Локкарта. Такие поступки диктуются часто случайностью: плохо спал, и духовой оркестр в саду играл слишком громко. Или у локкартовского эмиссара было что-то в лице, внушающее отвращение. Или в своем поступке царский офицер видел веское свидетельство своей преданности еще не родившейся власти?

Берзин был самым обыкновенным лагерным начальником, усердным исполнителем “воли пославшего”. Берзин держал у себя на колымской службе всех деятелей ленинградского ОГПУ времен кировского дела. Туда, на Колыму люди эти были просто переведены на службы – сохраняли стаж, надбавки и так далее. Ф. Медведь, начальник ленинградского отделения ОГПУ, был на Колыме начальником Южного горнопромышленного управления и по берзинскому делу расстрелян, вслед за Берзиным, которого вызвали в Москву и сняли с поезда под Александровом.

Ни Медведь, ни Берзин, ни Ежов, ни Берман, ни Прокофьев не были сколько-нибудь способными, сколько-нибудь замечательными людьми.

Славу им дал мундир, звание, военная форма, должность.

Берзин также убивал по приказу свыше в 1936 году. Газета “Советская Колыма” полна извещений, статей о процессах, полна призывов к бдительности, покаянных речей, призывов к жестокости и беспощадности.

В течение тридцать шестого года, и тридцать седьмого, с этими речами выступал сам Берзин — постоянно, старательно, боясь что-нибудь упустить, недосмотреть. Расстрелы врагов народа на Колыме шли и в тридцать шестом году.

Одним из главных принципов убийств сталинского времени было уничтожение одним рядом партийных деятелей другого. А эти в свою очередь гибли от новых — из третьего ряда убийц.

Я не знаю, кому тут везло, и в чем поведении была уверенность, закономерность. Да и так ли это важно.

Берзина расстреляли в декабре 1937 года. Он погиб, убивая для того же Сталина.

Легенду о Берзине развеять не трудно, стоит только просмотреть колымские газеты того времени — тридцать шестого! тридцать шестого! года. И тридцать седьмого, конечно.

”Серпантинная” следственная тюрьма Северного горного управления, где велись массовые расстрелы полковником Гараниным в 1938 году, эта ”командировка” открыта в Берзинское время.

Труднее понять другое. Почему только не находят в себе достаточных внутренних сил, нравственной стойкости для того, чтобы с уважением относиться к самому себе и не благоговеть перед мундиром, перед чином.

Почему способный скульптор с упоением, отдачей и благоговением лепит какого-то начальника ГУЛага? Что так повелительно привлекает художника в начальнике ГУЛага? Правда, и Овидий Назон был начальником ГУЛага. Но ведь не работой в лагерях прославлен Овидий Назон.

Ну, скажем, художник, скульптор, поэт, композитор может быть вдохновлен иллюзией, подхвачен и унесен эмоциональным порывом и творит любую симфонию, интересуясь только потоком красок, потоком звуков. Почему все же этот поток вызван фигурой начальника ГУЛага?

Почему ученый чертит формулы на доске перед тем же начальником ГУЛага и вдохновляется в своих материальных инженерных поисках именно этой фигурой. Почему ученый испытывает то же благоговение к какому-нибудь начальнику лагерного ОЛП'а. Потому только, что тот начальник?

Ученые, инженеры и писатели, интеллигенты, попавшие на цепь, готовы раболепствовать перед любым полуграмотным дураком.

"Не погубите, гражданин начальник" — в моем присутствии говорил местному уполномоченному ОГПУ в тридцатом году арестованный завхоз лагерного отделения. Фамилия завхоза была Осиненко. А до семнадцатого года Осиненко был секретарем митрополита Питирима, принимал участие в распутинских кутежах.

Да что Осиненко! Все эти Рамзины, Очкины, Бояршиновы вели себя так же.

Был Майсурадзе, киномеханик на "воле", около Берзина, сделавший лагерную карьеру и дослужившийся до должности начальника УРО. Майсурадзе понимал, что стоит "у стремени".

— Да, мы в аду, — говорил Майсурадзе. — Мы на том свете. На воле мы были последними. А здесь мы будем первыми.

И любому "Иван Ивановичу" придется с этим считаться. "Иван Иванович" — это кличка интеллигента на блатном языке.

Я думал много лет, что все это только "Расея" — невысказанная глубина русской души.

Но из мемуаров Гровса об атомной бомбе я увидел, что это подбострастие в общении с генералом свойственно миру ученых, миру науки не меньше.

Что такое искусство? Наука? Облагораживают ли они человека? Нет, нет и нет. Не из искусства, не из науки прио-

бретает человек свои ничтожно малые положительные качества. Что-нибудь другое дает ему нравственную силу, но не его профессия, не талант.

Всю жизнь я наблюдаю раболепство, пресмыкательство, самоунижение интеллигенции – а о других слоях общества и говорить нечего.

В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он – подлец. В зрелые я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я, стал осторожнее, трусливей. Я знаю секрет этой тайны людей, стоящих "у стремени". Это одна из тайн, которую я унесу в могилу. Я не расскажу. Знаю и не расскажу.

.....

На Колыме у меня был хороший друг, Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг – дружбы там не бывает, – а просто человек, к которому я относился с уважением. Кузнец лагерный. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как три пана – еще при Николае, конечно, – пороли три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу. Мужик плакал и кричал: "А как же я не евши".

К чему эта притча? Да ни к чему. Притча – и все.

###

ТАМАРИН-МИРЕЦКИЙ

Александр Александрович Тамарин-Мирецкий был не Тамарин и не Мирецкий. Он был татарский князь Хан-Гирей, генерал из свиты Николая Второго. Когда Корнилов летом семнадцатого года шел на Петроград, Хан-Гирей был начальником штаба Дикой дивизии — особо верных царю кавказских воинских частей. Корнилов не дошел до Петрограда, и Хан-Гирей остался не у дел. Позднее, по призыву Брусилова, известному испытанию офицерской совести, Хан-Гирей вступил в Красную армию и обратил свое оружие против своих бывших друзей. Здесь Хан-Гирей исчез, а явился кавалерийский командир Тамарин, командир кавалерийского корпуса — три ромба по сравнительной шкале военных званий того времени. Тамарин участвовал в этом чине в гражданской войне, а к концу гражданской самостоятельно командовал операциями против басмачей, против Энвера-паши. Басмачи были разбиты, рассеяны, но Энвер-паша выскользнул в песках Средней Азии из рук красных кавалеристов, исчез где-то в Бухаре и снова появился на советских границах — с тем, чтобы быть убитым в случайной перестрелке патрулей. Так кончилась жизнь Энвер-паши, талантливого военачальника, политика, объявившего когда-то Газават, священную войну Советской России.

Тамарин командовал операцией по уничтожению басмачей, и когда выяснилось, что Энвер-паша бежал, ускользнул, исчез — началось следствие по делу Тамарина. Тамарин доказывал свою правоту, объяснял неудачу поимки Энвера. Но

Энвер был слишком видной фигурой. Тамарина демобилизовали, и князь остался без будущего, без настоящего. Жена Тамарина умерла, но была жива и здорова старуха-мать, была жива сестра. Тамарин, поверивший Брусилову, чувствовал ответственность за семью.

Всегдашний интерес Тамарина к литературе — к современной поэзии даже, интерес и вкус, дал бывшему генералу возможность заработка по литературной части. Александр Александрович напечатал несколько статей-образов в "Комсомольской Правде". Подпись: А.А. Мирецкий.

Половодье входит в берега. Но где-то шелестят анкетами, где-то вскрывают пакеты и, не подшивая к делу, несут бумажку на доклад.

Тамарин арестован. Новое следствие ведется уже вполне официально. Три года концентрационных лагерей за нераскаяние. Сознание смягчило бы вину.

В 1928 году был только один концлагерь в России — УСЛОН. Четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения открылось недавно в верховьях Вишеры, сто километров от Соликамска, близ деревни Важаиха. Тамарин едет в этапе на Урал в стольпинском арестантском вагоне, обдумывая один план, очень важный, далеко рассчитанный план. Вагон, в котором везут Александра Александровича на север — стольпинский вагон из последних. Огромная нагрузка на вагонный парк, плохой ремонт — все привело к тому, что "стольпинские" стали вымирать, рассыпаться. Соскочил где-то с колеи, стал жилищем железнодорожных ремонтников, одряхлел, его активировали, и вагон исчез. Вовсе не в интересах нового правительства было обновлять именно "стольпинский" вагонный парк.

Был "стольпинский" галстук — виселица. Стольпинские хутора. Стольпинская земельная реформа вошла в историю. Но о "стольпинских" вагонах говорят все, по простоте душевной считая, что это — арестантский вагон, с решетками, специальный вагон для перевозок арестантов.

На самом же деле последние "столыпинские" вагоны, изобретенные в девятьсот пятом году, государство донашивало во время гражданской войны. Столыпинских вагонов давно нет. Сейчас любой вагон с решетками называют столыпинским.

Настоящий же "столыпинский" вагон модели 1905 года был теплушкой с маленькой щелью в центре стены, густо перекрещенной железом, с глухой дверью и узким коридорчиком для конвоя с трех сторон вагона.

Но что столыпинский вагон арестанту Тамирину.

Александр Александрович Тамарин не только кавалерийский генерал. Тамарин был садовод, цветовод, умевший, любивший выращивать розы. Он будет выращивать розы — как Гораций, как Суворов. Седой генерал с садовыми ножницами в руках, срезающий гостям благоухающий букет "Звезды Тамарина" — особой породы роз, отмеченной первой премией на международной выставке в Гааге. Или еще сорт — "Гибрид Тамарина" — северная красавица, петербургская Венера.

Эта мечта владела Тамириным с детства: выращивать розы — классическая мечта всех военных на пенсии, всех президентов, всех министров в мировой истории.

В кадетском корпусе, перед отходом ко сну, Хан-Гирей видел себя то Суворовым, переходящим Чертов мост, то Суворовым с садовыми ножницами среди сада в селе Кончанском. Впрочем, нет. Кончанское — опала Суворова. Хан-Гирей, утомленный подвигами во славу Марса, выращивает розы просто потому, что пришло время, исполнились сроки. После роз — никакого Марса.

Эта робкая мечта все разгоралась и разгоралась, пока не стала страстью. А когда стала страстью — Тамарин понял, что для выращивания роз нужно знание земли, а не только стихов Вергилия. Цветовод незаметно стал огородником и садоводом. Хан-Гирей поглощал эти знания быстро, учился

шутя. Никогда Тамарин не жалел времени на любой цветочный опыт. Не жалел времени, чтобы прочесть лишний учебник по растениеводству, по огородничеству.

Да, цветы и стихи! Серебряная латынь звала к стихам современных поэтов. Но главное — Вергилий и розы. Но может быть не Вергилий, а Гораций. Вергилий почему-то выбран Дантом в проводники сквозь ад. Хороший это или плохой символ? Поэт сельских радостей — надежный ли проводник по аду?

Ответ на этот вопрос Тамарин успел получить.

Но раньше выращивания роз пришла революция Февральская, Дикая дивизия, гражданская война, концлагерь на Северном Урале. Тамарин решил поставить новую ставку в своей жизни-игре.

Цветы, выращенные Тамариным в концлагере, в Вишерском сельхозе, возили на выставки в Свердловск с большим успехом. Тамарин понял, что цветы на Севере — путь к свободе. С этого времени чисто выбритый старик в заплатах ставил на стол директора Вишхимза, начальника Вишерских лагерей Эдуарда Петровича Берзина, свежую розу — ежедневно.

Берзин тоже кое-что слышал о Горации, о выращивании роз. Классическая гимназия эти знания давала. А главное — Берзин вполне доверял вкусам Александра Александровича Тамарина. Старый царский генерал, ежедневно ставящий свежую розу на письменный стол молодого чекиста. Это было неплохо. И требовало благодарности.

Берзин, сам царский офицер, сам в свое время, 24-х лет от роду, в локкартовском деле поставил жизнь-ставку на советскую власть. Берзин понимал Тамарина. Это была не жалость, а общность судеб, связавшая обоих надолго. Берзин понимал, что лишь по воле случая — он в кабинете директора Дальстроя, а Тамарин с лопатой в лагерном огороде. Это были люди одного воспитания, одной катастрофы. Никакой

разведки и контрразведки не было в жизни Берзина, пока не возник Локкарт и необходимость выбора.

.....
В двадцать четыре года жизнь кажется бесконечной. Человек не верит в смерть.

Недавно на кибернетических машинах вычислили средний возраст предателей в мировой истории – от Гамильтона до Валленрода.

Этот возраст – двадцать четыре года.

Стало быть и тут Берзин был человеком своего времени. Полковой адъютант, прапорщик Берзин... Любитель-художник. Знаток Барбизонской школы. Эстет, как все чекисты тех времен. Впрочем, он еще не был чекистом. Дело Локкарта было ценой за эту работу, вступительным партийным взносом Берзина.

.....
Я приехал в апреле, а летом пришел к Тамарину, переправился через реку по особому пропуску.

Тамарин жил при оранжерее. Комната со стеклянной парниковой крышей, темный, тяжелый запах цветов, запах сырой земли, парниковые огурцы и рассада, рассада. Александр Александрович соскучился по собеседнику. Отличать акмеистов от имажинистов не умел ни один тамаринский сосед по нарам, ни один помощник и начальник.

Вскоре началась эпидемия "перековки". Исправдома были переданы ОГПУ, и новые начальники по новым законам поехали на все четыре стороны света, открывая все новые и новые лагерные отделения. Страна покрылась густой сетью концлагерей, которые к этому времени переименовали в "исправительно-трудовые".

Помню большой митинг заключенных летом 1929 года в управлении УВЛОН – на Вишере. После доклада заместителя Берзина – штрафного чекиста Теплова – о новых планах советской власти, о новых рубежах в лагерном деле,

был задан вопрос Петром Иешиным, каким-то партийным лектором из Свердловска.

— Скажите, гражданин начальник, чем отличаются исправительно-трудовые лагеря от концентрационных?

Теплов звонко и с удовольствием повторил вопрос. — Это вы спрашиваете?

— Да, именно это, — сказал Иешин.

— Ничем не отличаются, — звонко выговорил Теплов.

— Вы меня не поняли, гражданин начальник.

— Я вас понял. — И Теплов перевел глаза не то выше, не то ниже Иешина, и никак не отвечал на сигналы Иешина — просьбу задать еще вопрос.

Волна "перековки" перенесла меня в Березники, на станцию Усольская, как это называлось в те времена.

Но еще раньше, в ночь перед моим отъездом, Тамарин пришел в лагерь в четвертую роту, где я жил, чтобы попроситься. Оказалось, это не меня увозят — это увозят Тамарина: спецконвоем, в Москву.

— Поздравляю, Александр Александрович. Это на пересмотр, на освобождение.

Тамарин был небрит. Щетина у него была такая, что при дворе царя приходилось бриться дважды в день. В лагере же — он брился один раз в день.

— Это — не освобождение и не пересмотр. Мне остался год сроку из трех лет. Неужели вы думаете, что кто-нибудь пересматривает дела. Прокуратура по надзору или какая-нибудь другая организация. Я заявлений не подавал никаких. Я стар. Я хочу здесь жить, на Севере. Здесь хорошо — я раньше, в молодости, севера не знал. Матери нравится тут. Сестре — тоже. Я хотел здесь умереть. И вот — спецконвой.

— Меня отправляют с этапом завтра — открывать Березниковскую командировку, бросить первую лопату на главную стройку второй пятилетки... Мы не можем ехать вместе.

– Нет, у меня спецконвой.

Мы распрощались, а завтра нас погрузили на "шитик", и шитик сплыл до Дедюхина, до Ленвы, где в старом складе и разместили первую партию заключенных, поднявших на своей спине, своей крови корпуса Березникхимстроя.

Цинги в берзинские времена было в лагере очень много, и не только с грозного "Севера", откуда пыльной змеей время от времени приползали, сползали с гор этапы отработавшихся. Север – это Усть-Ула и Кутим – где сейчас алмазы. Искали алмазы и раньше, но эмиссарам Берзина не везло. Притом лагерь с цингой, с побоями, с рукоприкладством походя, с убийствами бессудными – доверия у местного населения не вызывал. Только потом судьба ссыльных по коллективизации семей кубанских "раскулаченных", которых бросили на снег и на смерть в уральских лесах, подсказала, что страна готовится к большой крови.

Пересылка на Ленве была в том же бараке, где мы были размещены, вернее частью барака – верхним его этажом.

Конвоир только что завел туда какого-то мужчину с двумя чемоданами, в чекмене каком-то потертом... Спина была очень знакомой.

– Александр Александрович?

Мы обнялись. Тамарин был грязен, но весел, гораздо веселей, чем на Важаихе – при нашем последнем свидании. И я сразу понял, почему.

– Пересмотр?

– Пересмотр. Было три года, а теперь дали десять, высшую меру с заменой десятью годами – и я возвращаюсь! На Вишеру!

– Чего ж вы радуетесь?

– Как? Остаться жить – это главное в моей философии. Мне 65 лет. До конца нового срока я все равно не доживу. Зато кончилась всякая неизвестность. Я попрошу Берзина – дать мне умереть в сельхозе в моей светлой комнате с

потолком из парниковых рам. После приговора я мог проситься в любое место, но я немало потратил сил, чтобы выпросить возвращение, возвращение. А срок... Все это чепуха — срок. Большая командировка или маленькая командировка — вот и вся разница. Вот отдохну, переночую и завтра на Вишеру.

А причины, причины... Конечно, есть причины. Есть объяснения.

Заграницей вышли в свет мемуары Энвера. В самих мемуарах ни слова о Тамарине не говорилось, но предисловие к книге написал бывший адъютант Энвера. Адъютант написал, что Энвер ускользнул только благодаря содействию Тамарина, с которым Энвер, по словам адъютанта, был знаком, дружен и переписывался еще со времен службы Хан-Гирея при царском дворе. Эта переписка продолжалась и позже. Следствие, конечно, установило, что если бы Энвера не убили на границе — Тамарин, тайный мусульманин, должен был возглавить Газават и положить к ногам Энвера Москву и Петроград. Весь этот стиль следствия пышным кровавым цветом расцвел в тридцатые годы. "Школа", почерк один и тот же.

Но Берзин был знаком с почерком провокаторов и не поверил ни одному слову нового следствия по делу Тамарина. Берзин читал воспоминания Локкарта, статьи Локкарта о своем, берзинском деле. 1918 год. В этих статьях, мемуарах, латыш изображался союзником Локкарта, английским, а не советским шпионом. Место в сельхозе за Тамариным было закреплено навечно. Обещания начальников — хрупкая вещь, — но все же покрепче вечности, как показывало время.

Тамарин стал готовиться не совсем к той работе, которой хотел заниматься на первых порах после "пересмотра" дела. И хотя, по-прежнему, на стол Берзина старый агроном в чекмене ежедневно ставил свежую вишерскую розу, вишерскую орхидею, — думал он не только о розах.

Первый трехлетний срок Тамарина кончился, но он о нем и не думал. Судьбе нужна кровавая жертва, и эта жертва приносится. Умерла мать Тамарина — огромная, веселая кавказская старуха, которой так нравился Север, которая хотела подбодрить сына, поверить в его увлечение, в его план, в его путь, зыбкий путь. Когда выяснилось, что новый срок — десять лет, старуха умерла. Быстро умерла, в неделю. Ей так нравился Север, но сердце не выдержало Севера. Осталась сестра. Младше Александра Александровича, но тоже седая старуха. Сестра работала машинисткой в конторе Вишхимза, все еще веря в брата, в его счастье, в его судьбу.

В 1931 году Берзин принял новое большое назначение — на Колыму, директором Дальстроя. Это был пост, где Берзин совмещал в себе высшую власть окраинного края — восьмой части Советского Союза — партийную, советскую, военную, профсоюзную и так далее.

Геологическая разведка — экспедиции Билибина, Цареградского — дали превосходные результаты. Запасы золота были богаты — оставались пустяки — добыть это золото на шестидесятиградусном морозе.

О том, что на Колыме есть золото — это известно триста лет. — Но ни один царь не решался добывать это золото принудительным трудом, арестантским трудом, рабским трудом. Решилась на это только советская власть. После первого года — Беломорканала, после Вишеры — решили, что с человеком все сделать можно — границы его унижения безмерны, его физическая крепость безмерна. Оказалось, что можно изобретать ради второго блюда по шкале — производственной, ударной и стахановской — как к тридцать седьмому стали называть наивысший паек лагерников или колым-армейцев, как их называли в газетах тогда.

Для этого золотого предприятия, для этого дела по колонизации края, а позже для физического истребления

врагов народа, искали человека. И лучше Берзина не нашли. Берзин относился с полным презрением к людям, не с ненавистью, а с презрением.

Первый колымский начальник с правом побольше, чем у генерал-губернатора Восточной Сибири – Ивана Пестеля, отца Пестеля-декабриста, Берзин взял с собой Тамирина – по сельскохозяйственной части – экспериментировать, доказывать, прославлять. Были созданы сельхозы по типу вишерских – сначала вокруг Владивостока, а потом близ Эльгена.

Опорное сельское хозяйство на Эльгене, в центре Колымы, было упрямым капризом и Берзина и Тамирина.

Берзин считал, что будущий центр Колымы не приморский Магадан, а Тасканская долина. Магадан – только порт.

В Тасканской долине земли было чуть побольше, чем на голых скалах всего Колымского края.

Там создали совхоз, убили миллионы на доказательство недоказуемого. Вызревать картошка не хотела. Картошку выращивали в парниках, высаживали как капусту на бесконечных "ударниках", субботниках лагерного типа, заставляли заключенных там работать, высаживать эту рассаду "для себя". "Для себя!" Я немало поработал на таких "субботниках", а картошка так и осталась картошкой.

Через год лагерная Колыма дала первое золото, в 1935 году Берзин был награжден орденом Ленина. Александр Александрович получил реабилитацию, снятие судимости. Сестра его к этому времени тоже умерла, но Александр Александрович еще держался. Писал в журналах статьи – на этот раз не о молодой комсомольской жизни, а о своих сельскохозяйственных экспериментах... Александр Александрович вывел сорт капусты "Гибрид Тамирина", особенный какой-то северный, как мичуринский сорт. Капуста, а не роза! На фотографии капуста выглядит, как огромная роза – крупный, крутой бутон. 32 тонны "с гектара".

”Дыня-тыква Тамарина” — вес 40 килограмм! Картофель селекции Тамарина.

Александр Александрович возглавил на Колыме отделение растениеводства Дальневосточной Академии Наук.

Тамарин делал доклады в Академии с.-х. наук, ездил в Москву, спешил.

Тревога тридцать пятого года, кровь тридцать пятого года, арестантские ”потoki”, где было много друзей и знакомых самого Берзина, пугали, настораживали Тамарина. Берзин выступал и клеймил, разоблачал и судил разнообразных вредителей и шпионов из числа своих подчиненных, как ”просочившихся, пробравшихся в ряды” — до того дня, пока сам не стал вредителем и шпионом.

Комиссия за комиссией изучали берзинское царство, допрашивали, вызывали...

Тамарин чувствовал всю шаткость, всю непрочность своего положения. Ведь только в тридцать пятом году была с Тамарина снята судимость ”с восстановлением во всех правах”.

Тамарин получил право приехать на Колыму как вольнонаемный работник сельского хозяйства Севера, как дальневосточный Мичурин, как дальневосточный чародей. Договор был подписан в Москве, в 1935 году.

Успех овощных урожаев в лагерях под Владивостоком был велик. Бесплатная рабочая сила арестантская — неограниченная на Дальстроевской транзитке, делала чудеса. Выбранные из этапов агрономы, вдохновленные обещанием досрочного освобождения, зачетами рабочих дней, не щадили себя, ставя любые опыты. За неудачу тут пока не преследовали. Лихорадочно искали удачу. Но все это — материк, Большая земля, Дальний Восток, а не дальний Север. Но и на Дальнем Севере начинались опыты — в Тасканской долине, на Эльгене, в Сеймчане, на побережье близ Магадана.

На Вищере Александр Александрович Тамарин-Мирецкий пробыл с 1928 до 1932 года. В 1932 году Тамарин

заклученным приехал в Дальстрой, во Владивосток. Первое колымское золото, выданное в 1934 году, сделало Тамарина свободным. Приказ о снятии судимости относится к началу тридцать пятого года.

Но — не было свободы, подготовленной так тщательно, с таким бесконечным унижением, изворотливостью и осторожностью. На Колыму с материка шли арестантские эшелоны. Мир, сотворенный для Тамарина Берзиным, рассыпался на куски. Много деятелей кировского и до-кировского времени нашли у Берзина службу как бы запаса. Так, Ф. Медведь, начальник ленинградского ОГПУ во время убийства Кирова, был у Берзина начальником южного ОГПУ. В первом случае ГП значит "государственно-политическое", а во втором только "горно-промышленное" — лингвистические забавы работников "органов".

Пришел тридцать шестой год — с расстрелами, с разоблачениями, с покаяниями.

За тридцать шестым — тридцать седьмой.

На Колыме было много процессов, но этих местных жертв Сталину было мало. В пасть Молоху надо было кинуть жертву покрупнее.

В ноябре тридцать седьмого года Берзин был вызван в Москву с предоставлением годового отпуска. Директором Дальстроя был назначен Павлов. Берзин представил нового начальника партактиву Дальстроя. Ехать вместе с Павловым на прииски — сдавать хозяйство не было времени — торопила Москва.

Перед отъездом Берзин помог Тамарину получить отпуск "на материк". Дальстроевец с двухлетним стажем, Александр Александрович не выслужил еще отпуска. Этот отпуск — последнее благодеяние, оказанное директором Дальстроя генералу Хан-Гирею.

Ехали они в одном вагоне. Берзин был как всегда хмур. Уже под Москвой, в Александрове, в ледяную метельную

декабрьскую ночь, Берзин вышел на перрон. И в вагон не вернулся. Поезд пришел в Москву без Берзина. Тамарин, переждав несколько дней настоящей своей свободы — первой за двадцать лет, пытался узнать о судьбе своего многолетнего начальника и покровителя. В один из таких визитов в представительство Дальстроя Тамарин узнал, что он и сам уволен "из системы", уволен заочно и навсегда.

Тамарин решил еще раз попытать свое счастье. Всякое заявление, жалоба, просьба в те годы были привлечением внимания к жалобщику, риском смертельным. Но Тамарин был стар. Он не хотел ждать. Да, стариком он стал, не хотел, не мог ждать. Тамарин написал заявление в управление Дальстроя с просьбой вернуть его, Тамарина, для работы на Колыму. Тамарин получил отказ — в таких специалистах послеберзинская Колыма не нуждалась.

Был март тридцать восьмого года, все пересылки страны были забиты этапами, этапами, этапами. Все железные дороги страны были забиты арестантскими эшелонами. Смысл ответа был такой: если тебя и привезут, то только под конвоем.

Это был последний след Хан-Гирея, садовника и генерала на нашей земле.

Судьбы Берзина и Тамарина очень схожи. Оба они служили силе и слушались этой силы. Верили в силу. И сила их обманула.

Дела Локкарта Берзину никогда не простили, не забыли. Ни у нас, ни на Западе. На Западе мемуаристы считали Берзина верным участником английского договора. Ни Ленина, ни Дзержинского, знавших подробности локкартовского дела, не было уже в живых. И когда пришел час, Сталин убил Берзина. Около государственных тайн слишком горячо людям, даже с такой холодной кровью, как Берзин.

###

БОРИС ЮЖАНИН

В один из осенних дней тридцатого года пришел арестантский этап — теплушка номер сорок какого-то энного эшелона, идущего на север, на север, на север. Все пути были забиты. Железная дорога едва справлялась с перевозками "раскулаченных" — с женами и малыми детьми "раскулаченных" гнали на север, чтобы бросить кубанцев, сроду не видевших леса, — в густую уральскую тайгу. По Чердынским леспромхозам уже через год надо было посылать комиссии, — переселенцы поумирали, план лесозаготовок был под угрозой. Но все это было потом, а сейчас "лишенцы" еще вытирались украинским пестрым рушником, умывались, радуясь и не радуясь отдыху, задержке их. Поезд задерживали, он уступал дорогу — кому — арестантским эшелонам. Эти знали — их привезут и возьмут под винтовку, а потом каждый будет ловчить, сражаться за свою судьбу, "ломать судьбу". Кубанцы же ничего не знали — какой смертью они умрут, где и когда. Кубанцев всех отправляли в теплушках. И арестантские эшелоны — числом поболее — тоже отправляли в теплушках. Настоящих "столыпинских" вагонов — теплушечных — было мало, и под арестантские этапы стали оборудовать, заказывать на заводах обыкновенные вагоны когда-то второго класса. Так зовут арестантские вагоны с решетками по той самой причине, по какой центральные части России на Колыме зовут "материком", хотя Колыма и не остров, а область на Чукотском полуострове. Сахалинский лексикон, отправка только пароходами,

многодневный морской путь — все это создает иллюзию острова. Колыма — это остров. С нее возвращаются на "материк", на "большую землю". И "материк" и "большая земля" — это словарь повседневности: журнальный, газетный, книжный.

Точно так же за арестантским вагоном с решетками сохранилось название "стольпинский". Хотя арестантский вагон издания 1907 года совсем не таков.

Так вот, в списке теплушки номер сорок — тридцать шесть заключенных. Норма! Этап шел без перегрузки. В списке для конвоя, написанном от руки, была графа "специальность", и какая-то запись привлекла внимание учетчика. "Синеблузник"! Что это за специальность? Не слесарь, не бухгалтер, не культработник, а "синеблузник". Было видно, что этим ответом на лагерную анкету, на тюремный вопрос арестант хочет утвердить что-то важное ему. Или обратить чье-то внимание.

Список был такой.

Гуревич Борис Семенович (Южанин), ст. ПШ (литер: "Подозрение в шпионаже", срок 3 года — немыслим для такой статьи даже по тем временам!), год рождения 1900 (ровесник века!), специальность "синеблузник".

Гуревича привели в лагерную контору. Смуглый, стриженный, большеголовый человек с грязной смуглой кожей. Разбитое пенсне без стекол было укреплено на носу. Какой-то веревочкой привязано еще и к шее. Рубашки ни нижней, ни верхней не было, белья не было тоже. Только синие тесные хлопчатобумажные штаны без пуговиц, явно чужие, явно сменка. Все обобрали блатари, конечно. Играли на чужие вещи, на тряпки "фраера". Грязные босые ноги с отросшими ногтями и жалкая, доверчивая какая-то улыбка на лице, в крупных, коричневатых, хорошо мне знакомых глазах. Это был Борис Южанин, знаменитый руководитель знаменитой Синей блузы, пятилетие которой праздновалось

в Большом театре и недалеко от меня сидел Южанин, окруженный столпами синеблузного движения — Третьяков, Маяковский, Фореггер, Юткевич, Тенин, Кирсанов — авторы и сотрудники журнала "Синяя блуза" — глядели идеологу и вождю движения Борису Южанину в рот и ловили каждое его слово.

А ловить было что: Южанин непрерывно что-то говорил, чем-то убеждал, к чему-то вел.

Сейчас Синяя блуза забыта. В начале двадцатых годов на нее возлагалось много надежд. Не только как новая театральная форма, которую несла миру революция Октябрьская, перерастающая в мировую.

Синеблузники и Мейерхольда считали недостаточно левым и предлагали новую форму не только театрального действия, Живой газеты — как называл свою Синюю блузу Южанин, но и жизненной философии.

Синяя блуза по мысли вождя движения была неким орденом. Эстетика, поставленная на службу революции, — приводила и к этическим победам.

В первых номерах нового литературного сборника журнала "Синяя блуза" (их вышло очень много за пять-шесть лет) авторы, как бы знамениты они не были (Маяковский, Третьяков, Юткевич, Кирсанов, Арго, Асеев) не подписывались вовсе — синеблузный принцип целомудренности. По тем же причинам синеблузники не курили, женщины — не красили губ.

Единственная подпись: редактор Борис Южанин.

Гонорары поступали в фонд "Синей блузы" — на дальнейшее развитие и движение. Синяя блуза по мысли Бориса Южанина не должна была быть профессиональной. Каждое учреждение, каждая фабрика и завод должны иметь свои коллективы. Самодеятельные коллективы.

Синеблузные тексты требовали простых, известных мелодий. Голосов не требовали никаких. Но если находился

голос, талант – тем лучше. Синеблузник переводился в Показательный коллектив. Те состояли из профессионалов – временно – по мысли Южанина.

Южанин выступил с отрицанием старого театрального искусства. Выступил резко против Художественного и Малого театра, против самого принципа их работы.

Театры долго не могли приспособиться к новой власти. Южанин заговорил от ее имени, обещая новое искусство.

В этом новом искусстве главное место отводилось театру разума, театру лозунга, политическому театру.

Синяя блуза резко выступала против театра переживаний.

Все то, что называлось "Театром Брехта", было открыто и показано Южаниным. Тут дело не в приоритете. О связи Брехта с Южаниным я еще скажу. Тут дело в том, что, найдя эмпирическим путем целый ряд художественных принципов новых, Южанин не сумел их обобщить, развить, принести на международный форум. Это сделал Брехт – честь ему и хвала!

Первая "Синяя блуза" вышла на сцену клубную, комсомольскую сцену в 1921 году. Через пять лет в России было четыреста коллективов. В качестве основной базы с кругло-суточными постановками "Синяя блуза" получила кинотеатр "Ша-нуар" на Страстной площади, тот самый, что сломали летом 1967 года.

Черное знамя анархистов еще висело на доме по соседству – на клубе анархистов на Тверской, где еще недавно выступали Мамонт Дальский, Иуда Гроссман-Роцин, Дмитрий Фурманов и другие апостолы анархизма. Способный журналист Ярослав Гамза принял участие в полемике о путях и судьбах нового советского театра, новых театральных форм.

Центральных коллективов было восемь: "Показательный", "Образцовый", "Ударный", "Основной" – так они назывались. Южанин хранил равенство.

В 1923 году на правах отдельного коллектива в "Синюю блузу" вошел театр Фореггера.

И вот при этом росте, при этом движении вширь и вглубь — Синей блузе чего-то не хватало.

Присоединение театра Фореггера было последней победой "Синей блузы".

Внезапно выяснилось, что "Синей блузе" нечего сказать, что театральное "левое" более тяготеет к театру Мейерхольда, к театру Революции, к Камерному театру. Эти театры сохранили и свою энергию, выдумку, сохранили свои кадры — гораздо квалифицированное "показательных" коллективов Южанина. Киноактер Борис Тенин и Клавдия Коренева, перешедшие позднее в "Театр для детей" — единственные имена, рожденные в "Синей блузе". Юткевич стал работать в кино. Третьяков и Кирсанов — в "Новом Лефе". Синембузный композитор Константин Листов, и тот изменил живой газете.

Выяснилось также, что академические театры оправились от потрясения и согласны и даже очень согласны обслуживать новую власть.

Зрители вернулись в залы с занавесом, где нарисована была чайка, молодежь ломилась в студии старых театральных школ.

Синей блузе не было места. И как-то стало ясно, что все это — блеф, мираж. Что у искусства есть свои надежные пути.

Но это было в конце, а в начале был сплошной триумф.

На сцену выходили одетые в синие блузы актеры — парадом-антрэ начинали спектакль. Эти парады-антрэ были одинаковыми — как спортивный марш перед футбольными радиопередачами:

Мы — синембузники,
Мы — профсоюзники.
Мы не баяны-соловьи.

Мы только гайки
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

Лефовец С.М. Третьяков был большим мастером на эти "гайки и спайки". Редактор "Синей блузы" тоже написал несколько ораторий, скетчей, сценок.

После парада разыгрывали несколько сценок. Актеры без грима. В "прозодежде", как после скажут — "без костюмов" — только аппликации-символы. Аппликации тоже вызвали бурную дискуссию — допустимо ли? достойно ли?

Все, что умели,
Мы все пропели,
Мы вам пропели все, что могли,
И безусловно, достигли цели,
Если мы пользу вам принесли.

Этот куций мир газетных передовиц, пересказанный на театральном жаргоне, имел успех необыкновенный. Новое искусство пролетариата.

"Синяя блуза" поехала в Германию, Китай, Эстонию. Два коллектива во главе с самим Южаниным. В двадцать четвертом, кажется, году. В рабочие клубы Веймарской республики. Здесь Южанин встретился с Брехтом и ошеломил Брехта новинкой своих идей. Ошеломил — это собственное выражение Южанина. Южанин встречался с Брехтом так часто, как можно было в те времена, полные подозрений, взаимной слезки.

Первая поездка "ударников" - рабочих за границу, кругосветное путешествие относится к 1933 году. Там на каждого ударника был один политкомиссар.

С Южаниным политкомиссаров ездило тоже немало. Андреева Мария Федоровна устраивала эти поездки.

После Германии "Синяя блуза" двинулась в Швейцарию и, изнемогая от триумфа, вернулась на родину.

Через год Южанин повез в Германию еще два синеблузных коллектива — тех, которые не участвовали в первой поездке.

Триумф тот же. Снова встречи с Брехтом. Возвращение в Москву.

Коллективы готовятся к поездке в Америку, в Японию.

У Южанина было одно качество, мешавшее ему как вождю движения — он был плохой оратор. Не умел подготовить выступление, сразить противника в дискуссии, в докладе. А тогда такие дискуссии были в большой моде — совещание за совещанием, диспут за диспутом. Южанин был человек очень скромный, даже пугливый. И в то же время никак не хотел сыграть вторую роль, отойти в тень, в сторону.

Закулисная борьба требует много выдумки, много энергии. Этих качеств у Южанина не было. Южанин был поэтом, а не политиком. Поэт — догматик, поэт — фанатик своего синеблузного дела.

.....
Грязный оборванец стоял передо мной. Босые грязные ноги никак не могли найти места — Борис Южанин переступал ногами.

— Блатные? — спросил я, кивая на его голые плечи.

— Да, блатные. Мне так еще лучше, легче. Загорел я в дороге.

.....
В высших сферах уже готовились распоряжения и приказы о синеблузниках — сократить им средства, снять с дотации. Уже и на театр "Ша-нуар" объявились претенденты. Теоретическая часть синеблузных манифестов становилась все бледнее и бледнее.

Южанин не привел, не сумел привести свой театр к мировой революции. Да и сама эта перспектива к середине двадцатых годов потускнела.

Любовь к синемолузыным идеалам! Этого казалось мало. Любува — это ответственность, это споры на секции Моссовета, это докладные записки, — буря в стакане воды, беседы с теряющими заработок актерами. Принципиальный вопрос — так кто же Синяя блуза — профессионалы или самодеятельность?

Идеолог и руководитель "Синей блузы" разрубил все эти вопросы, все эти узлы — личные и общественные, теоретические и практические одним ударом меча.

Борис Южанин бежал за границу.

Ребенок, он бежал неудачно. Все свои деньги он вручил какому-то матросу в Батуми, а матрос отвел его в ОГПУ. В тюрьме Южанин сидел долго.

Московское следствие дало герою новой театральной формы литер "ПШ". Подозрение в шпионаже и срок три года концентрационных лагерей.

"То, что я увидел за границей — было так непохоже на то, что писали в наших газетах. Мне не захотелось быть больше устной газетой. Мне захотелось настоящей жизни".

Я подружился с Южаниным. Я смог оказать ему ряд небольших услуг — вроде белья или бани, но скоро его вызвали в управление, на Вижайху, где был центр УВЛОНА — работать по специальности.

Идеолог и создатель синемолузного движения стал руководителем "Синей блузы" в Вишерских концентрационных лагерях, арестантской живой газеты. Эффектный конец!

Для этой лагерной "Синей блузы" я и написал в сотрудничестве с Борисом Южаниным несколько скетчей, ораторий, куплетов.

Южанин стал редактором журнала "Новая Вишера". В Ленинградской библиотеке можно найти экземпляры этого журнала. Имя Южанина сохранено для потомства. Великое дело Гутенберга, даже если типографский станок заменен стеклографом.

Один из принципов "Синей блузы" — использование любого текста, любого сюжета.

Если полезно — и слова и музыка могут быть любых авторов. Здесь нет литературных краж. Здесь плагиат — принципиальный.

В тридцать первом году Южанина увезли в Москву. Пересмотр дела? Кто знает?

Ряд лет Южанин жил в Александрове — стало быть, дело не очень пересмотрели.

В пятьдесят седьмом году я случайно узнал, что Южанин жив — Москва двадцатых годов не могла его не знать и не помнить.

Я написал ему письмо, предложил рассказать о "Синей блузе" москвичам конца пятидесятых годов. Это предложение вызвало резкий протест главного редактора журнала — тот о "Синей блузе" и слыхом не слыхал. Я не имел возможности подтвердить собственное же предложение и выругал себя за торопливость. А потом я заболел, и южанинское письмо пятьдесят седьмого года так и лежит у меня в столе.

###

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

С тридцатого года пошла эта мода: продавать инженеров. Лагерь имел доход немалый от продажи на сторону носителей технических знаний. Лагерь получал полную ставку и из нее вычитывалось питание арестантов, одежда, конвой, следовательский аппарат, даже ГУЛag. Но после вычета всех коммунальных расходов оставалась приличная сумма. Эта сумма вовсе не поступала в доход государства, и заключенный получал вполне произвольные "премиальные", которых хватало иногда на пачку папирос "Пушка", а иногда и на несколько пачек. Лагерное начальство поумнее добивалось от Москвы разрешения платить пусть малый, но определенный процент заработка, отдавать эту сумму в руки арестанту. Но разрешения на такой расчет от Москвы не давалось, и инженерам платили произвольно. Как, впрочем, и землекопам и плотникам. Правительство почему-то боялось даже иллюзии "зарплаты", превращая ее в "награду", в "премию" и называя эту зарплату премией.

В числе первых инженеров-заключенных, проданных лагерем на строительство, в нашем лагерном отделении был Виктор Петрович Финдикаки, сосед мой по бараку.

Виктор Петрович Финдикаки — срок 5 лет, статья пятьдесят восемь, пункты семь и одиннадцать, был первым русским инженером, поставившим — это было на Украине — прокатку цветных металлов. Его работы по специальности хорошо известны в русской технике, и когда Виктору Петровичу предложил новый хозяин — Березниковский

химкомбинат — отредактировать учебную книжку по специальности, Виктор Петрович взялся за эту работу с энтузиазмом, но скоро погрузился, и я с трудом добился от Виктора Петровича причины его огорчения.

Виктор Петрович без тени улыбки объяснил, что в редактируемом им учебнике встречается слово "вредит" — я везде вычеркнул это слово. Заменял словом "препятствует". Теперь эти результаты у начальства.

Правка Виктора Петровича не встретила возражений у начальства, и Виктор Петрович остался на инженерной должности.

Пустяк, конечно. Но для Виктора Петровича это было дело серьезное, принципиальное, а почему — сейчас объясню.

Виктор Петрович был человеком "расколовшимся", как говорят блатные и лагерные начальники. На своем процессе он "помогал следствию", участвовал в очных ставках, был запуган, сбит с ног и растоптан. И кажется, не только в переносном смысле. Виктор Петрович прошел несколько "конвейеров", как это стало называться повсюду через четыре-пять лет.

Начальник производственного лагеря Павел Петрович Миллер знал Финдикаки по тюрьме. И хотя сам Миллер выдержал и конвейеры и плюхи — получил десять лет, он как-то безразлично относился к проступку Виктора Петровича. Сам же Виктор Петрович мучился своим предательством ужасно. По всем этим вредительским делам были расстрелы. Понемножку, правда, но расстреливали уже. Приехал в лагерь шахтинец Боярышников и тоже, как будто, недружелюбно беседовал с Финдикаки.

Сознание какого-то провала, нравственного падения безмерного не оставляло Финдикаки долго. Виктор Петрович (его койка в бараке стояла рядом с моей) не хотел даже работать на какой-нибудь блатной, привилегированной должности, бригадиром, десятником или помощником самого Павла Петровича Миллера.

Финдикаки был человек физически крепкий, невысок, широкоплеч. Помню, немного он удивил Миллера, когда попросился в бригаду грузчиков на Содовый завод. Бригада эта, не имея вольного хождения, вызывалась из лагеря на Содовый завод в любое время суток для погрузки или разгрузки вагонов. Быстрота работы была тем преимуществом, которое, из-за угрозы железнодорожного штрафа администрация Содового завода ценила очень высоко. Миллер посоветовал инженеру поговорить с бригадиром грузчиков. Юдин, бригадир, жил тут же в бараке и расхохотался, выслушав просьбу Финдикаки. Природный пахан Юдин не любил белоручек, инженеров, вообще ученых. Но, уступая желанию Миллера, взял Финдикаки в свою бригаду.

С той поры мы встречались с Финдикаки редко, хотя и спали рядом.

Прошло какое-то время, и в Химстрой понадобился "умный раб", ученый раб. Понадобился инженерный мозг. Есть работа для Финдикаки. Но Виктор Петрович отказался. Нет, я не хочу возвращаться в мир, где мне каждое слово ненавистно, каждый технический термин, будто язык стукачей, лексикон предателей. Миллер пожал плечами, и Финдикаки продолжал работать грузчиком.

Но скоро Финдикаки немножко остыл, судебная травма стала немножко сглаживаться. В лагерь прибыли другие инженеры, "расколотые". К ним Виктор приглядывался. Живут и не умирают ни от собственного стыда, ни от презрения окружающих. Да и бойкота никакого нет — люди как люди. И Виктор Петрович стал немножко жалеть о своем капризе, о своем мальчишестве.

Снова вышла инженерная должность на строительстве, и Миллер — через него шло ходатайство начальнику — отказал нескольким только прибывшим инженерам. Виктор Петрович был спрошен еще раз и согласился. Но — назначение вызвало резкий, дикий протест бригадира грузчиков.

Для какой-то конторской работы у меня снимают лучшего грузчика. Нет, Павел Петрович. Блат поломан. Я до Берзина дойду, а всех вас разоблачу.

Началось действительно следствие о вредительстве Миллера, но, к счастью, кто-то из приезжего начальства сделал внушение бригадиру грузчиков. И Виктор Петрович Финдикаки вернулся на инженерную работу.

По-прежнему мы стали засыпать вместе — наши топчаны стояли рядом. Снова я слышал, как Финдикаки шептал перед сном — как молитву: жизнь — это говно. Говенная штука. Пять лет. — Ни тон, ни текст заклинания Виктора Петровича не изменились.

###

ТРОПА

В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил, летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много — конусообразные лиственницы, серые, как из папье-маше, были натканы в болоте, будто колья. Избушка стояла на пригорке, окруженная стланниковыми кустами с зелеными хвойными кисточками — к осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти стланниковые заросли и проходила к болоту тропа, а болото когда-то не было болотом, — на нем рос лес, — а потом корни деревьев сгнили от воды и деревья умерли — давно, давно. Живой лес отошел в сторону по подножью горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше по горному склону.

Первые дни мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек и лепестками и их узором, огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было — когда-то я ловил себя на автоматизме движения — сорвешь букет и поднимаешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривал, что случилось за ночь на моей тропе — вот распрямылся ландыш, раздавленный моим сапогом вчера, подался в сторону, но все же ожил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда — и лежит, как рухнувший телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами, и разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода.

А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути ложились ветви стланика, те, которые хлестали мне лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственницы, лет по сто — они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенный темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, да следы египетской клинописи куропаток видал я на ней много раз, и треугольный заячий след встречался, но ведь птица и зверь — не в счет.

Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало — вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропке. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом, льдом уже схватывало грязь на тропе и грязь будто засахаривалась, как варенье. И двумя осенями перед снегом я приходил на эту тропу — оставить глубокий след, чтоб на моих глазах затвердел он на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки, ступал в старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал — мороз не дает думать — писать можно только в тепле. А летом я знал все наперечет, все было гораздо пестрей, чем зимой, на этой волшебной тропе — стланик и лиственницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение, и если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то бормотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал.

А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог или пеший горный почтальон или охотник — человек оставил следы тяжелых сапог.

С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал на этой тропе ни строчки. А к зиме меня перевели в другое место, да я и не жалел – тропа была безнадежно испорчена.

Вот об этой тропе много раз пытался я написать стихотворение, но так и не сумел написать.

###

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ

Машина гудела, гудела, гудела... Вызывала начальника больницы, объявляла тревогу... А гости уже поднимались по лестничным маршам. На них были напялены белые халаты, и плечи халатов разрывались погонами из-за слишком тесной военным гостям больничной формы.

Опережая всех на две ступеньки, шагал высокий седой человек, фамилию которого в больнице знали все, но в лицо не видел никто.

Было воскресенье, вольнонаемное воскресенье, начальник больницы играл на бильярде с врачами, обыгрывая их всех — начальнику все проигрывали.

Начальник сразу разгадал ревуший гудок и вытер мел со своих потных пальцев. Послал курьера — сказать, что идет, сейчас придет.

Но гости не ждали.

— Начнем с хирургического... — В хирургическом лежало человек двести, две большие палаты человек по восемьдесят, одна — чистой хирургии, другая гнойной; в чистой все закрытые переломы, все вывихи. И — послеоперационные маленькие палаты. И — палата умирающих больных гнойного отделения — сепсисы, гангрены.

— Где хирург?

— Уехал на поселок. К сыну. Сын у него там в школе учится.

— А дежурный хирург?

— Дежурный сейчас придет. — Но дежурный хирург Утробин, которого по всей больнице дразнили Угробиним, был пьян и на зов высокого начальства не явился.

По хирургическому высокое начальство сопровождал старший фельдшер из заключенных.

— Нет, нам твои объяснения, твои истории болезни не понадобятся. Мы знаем, как они пишутся, — сказал высокий начальник фельдшеру, входя в большую палату и закрывая за собой дверь. — И начальника больницы пока сюда не пускайте.

Один из адъютантов, майор, занял пост у двери в палату.

— Слушайте, — сказал седой начальник, выходя на середину палаты и обводя рукой койки, стоявшие в два ряда вдоль стен, — слушайте меня. Я новый начальник политуправления Дальстроя. У кого есть переломы, ушибы, которые вы получили в забое или в бараке от десятников, от бригадиров, словом, в результате побоев, подайте голос. Мы приехали расследовать травматизм. Травматизм ужасен. Но мы покончим с этим. Все, кто получил такие травмы, расскажите моему адъютанту. Майор, запишите! — Майор развернул блокнот, достал вечное перо.

— Ну!

— А отморожения, гражданин начальник?

— Отморожения не надо. Только побои.

Я был фельдшером этой палаты. Из восьмидесяти больных — семьдесят были с такими травмами — и в историях болезни все это было записано. Но ни один больной не откликнулся на этот призыв начальства. Никто не верил седому начальнику. Пожалуйся, а потом с тобой сочтутся, не отходя от койки. А так, в благодарность за смиренный нрав, за благоразумие подержат в больнице лишний день. Молчать было гораздо выгоднее.

— Вот я — мне руку сломал боец!

– Боец? Разве у нас бойцы бьют заключенных? Наверное, не боец охраны, а какой-нибудь бригадир.

– Да, наверное бригадир.

– Вот видите, какая у вас плохая память. А ведь такой случай, как мой приезд – редкость. Я – высший контроль. Мы не позволим бить. Вообще с грубостью, с хулиганством, с матерщиной надо кончать. Я уже выступал на совещании хозяйственного актива. Говорил – если начальник Дальстроя невежлив в своих беседах с начальником управления, то начальник горного управления, распекая начальников приисков, допускал оскорбительную матерную брань, то как должен говорить начальник прииска с начальниками участков. Это – сплошной мат. Но еще это материковый мат. Начальник участка распекает прорабов, бригадиров и мастеров уже на чисто колымском блатном мате. Что же остается делать мастеру, бригадиру? Брать палку и лупить работяг. Так или не так?

– Так, товарищ начальник, – сказал майор.

– На той же конференции выступал Никишов. Говорит, вы – люди новые, Колымы не знаете, здесь условия особые, мораль особая. А я ему сказал: мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Никишов, а как говорит товарищ Сталин.

– Так, товарищ начальник, – сказал майор.

Больные слышали, что дело дошло до Сталина, и вовсе примолкли.

За дверью толклись заведующие отделениями, их уже вызвали с квартир, стоял начальник больницы, дожидаясь конца речи высокого начальства.

– Снимают Никишова, что ли, – предположил Байков, заведующий вторым терапевтическим отделением, но на него шикнули и он умолк.

Начальник политотдела вышел из палаты и поздоровался с врачами за руку.

– Перекусить прошу, – сказал начальник больницы. Обед на столе.

– Нет, нет, – начальник политотдела посмотрел на часы. – Надо ехать, к ночи попасть в Западное, в Сусуман. Завтра совещание. А впрочем... Только не обедать. А вот что. Дайте портфель. – Седой начальник взял тяжелый портфель из рук майора.

– Вы глюкозу мне можете сделать?

– Глюкозу? – сказал начальник больницы, не понимая.

– Ну да, глюкозу. Укол сделать внутривенный. Я ведь не пью ничего спиртного с детства... Не курю. Но через день делаю глюкозу. Двадцать кубиков глюкозы внутривенно. Мне мой врач еще в Москве посоветовал. И что вы думаете. Лучшее тонизирующее. Лучше всяких женьшеней, всяких тестостеронов. Я всегда вожу глюкозу с собой. А шприц не вожу – уколы мне делают в любой больнице. Вот сделайте мне укол.

– Я не умею, – сказал начальник больницы. – Я лучше жгут поддержку. Вот дежурный хирург – тому и книги в руки.

– Нет, – сказал дежурный хирург, – я тоже не умею. Это, товарищ начальник, такие уколы делает не всякий врач.

– Ну, фельдшер.

– У нас нет вольнонаемных фельдшеров.

– А этот?

– Этот из зэка.

– Странно. Ну, все равно. Ты можешь сделать?

– Могу, – сказал я.

– Кипяти шприц.

Я вскипятил шприц, остудил. Седой начальник вынул из портфеля коробку с глюкозой, и начальник больницы облил руки спиртом и вместе с парторгом отбил стекло и всосал раствор глюкозы в шприц. Начальник больницы надел на шприц иглу, передал мне шприц в руки и, взяв резиновый

жгут, затянул руку высокого начальника; я ввел глюкозу, придавил ваткой место укола.

— У меня вены, как у грузчика, — милостиво пошутил начальник со мной.

Я промолчал.

— Ну, отдохнул — пора и ехать. — Седой начальник встал.

— А в терапевтические? — сказал начальник больницы, боясь, что если гости вернутся для осмотра терапевтических больных, то ему будет обязательно выговор за то, что вовремя не напомнил.

— В терапевтических нам нечего делать, — сказал начальник политуправления. — У нас целевая поездка.

— А обедать?

— Никаких обедов. Дело прежде всего.

Машина загудела, и автомобиль начальника политуправления исчез в морозной мгле.

###

ГОРОД НА ГОРЕ

В этот город на горе, второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого года. Из этого города меня привезли на суд в трибунал два года тому назад, дали десять лет, и я скитался по витаминным, обещающим смерть командировкам, щипал стланник, лежал в больнице, снова работал на "командировках" и с участка "Ключ алмазный", где условия были невыносимы — бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только что начинался — следователь рассудил, что выгоды государству будет немного от нового следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться отныне и до окончания века. Но я не хотел сказать: аминь.

В лагерях существует правило — не посылать, не "этапировать" вновь судимых заключенных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл. Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и лжесвидетелям. Это — их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе — и не только из-за лени следователя. Нет, герой очных ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из "спецзоны". И бригадира Нестеренко, и заместителя Заславского, и неизвестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их, как исправившихся, доказавших преданность, уже увезли из спецзоны.

Стало быть, стукачам и лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой — проступком неизмеримо меньшим, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он "срисовал", как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в мир моего соседа. И я "срисовал" его тоже; как-никак, а я был не просто "фраер", а "битый фраер". Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.

Через час двери камеры нашей раскрылись.

— Кто Иван-Грек?

— Это — я.

— Тебе передача. — Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток на нары.

— Скоро, что ли?

— Машину подают.

Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.

Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы — Иван-Грека и мои.

Это была та самая зона, где шли разводы "без последнего", где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой

жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каждого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец, и если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше, и лошади тащили отказчика на работу — до забоев было не меньше километра. Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе — так была задумана спецзона — было самым тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы — ибо после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цепляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти, да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в самый лагерь, как говорило начальство, "для самих себя".

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы, вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже нашей, были и блатары. Здесь, как и на всех приисках в ОЛП'ах первой категории, была вахта с надписью "Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы. В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который по требованию следователя, видя меня каждый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя, написал в моем присутствии, зэк, имя рек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагерников — любых по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет и они все покажут против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова...

Сейчас Федорова на Джелгале не было — перевели в другое место. Да и Мохнача не было.

А кто был в санчасти Джелгалы? Доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший ээка.

Доктор Ямпольский не был даже фельдшером. Но на прииске Спокойном, где мы с ним впервые встретились, лечил больных только марганцовкой и иодом, и любой профессор не дал бы прописи, которая отличалась бы от прописи доктора Ямпольского... Высшее начальство, зная, что медикаментов нет, и не требовало многого. Борьба со вшивостью — безнадежная и бесполезная, формальные визы представителей санчасти в актах, общий "надзор" — вот и все, что требовалось от Ямпольского высшим начальством. Парадокс был в том, что ни за что не отвечая и никого не леча, Ямпольский постепенно копил опыт и ценился не меньше любого колымского врача.

У меня с ним было столкновение особого рода. Главный врач той больницы, где я лежал, прислал письмо Ямпольскому с просьбой помочь мне попасть в больницу. Ямпольский не нашел ничего лучшего, как передать это письмо начальнику лагеря, донести, так сказать. Но Емельянов не понял истинного намерения Ямпольского и — встретив меня — сказал: отправим, отправим. И меня отправили. Сейчас мы встретились снова. На первом же приеме Ямпольский заявил, что освобождать от работы меня не будет, что он разоблачит меня и выведет на чистую воду.

Два года назад я въезжал сюда в черном военном этапе — по списку господина Карякина, начальника участка Аркагалинской шахты. Этап жертв собирали по спискам по всем управлениям, всем приискам — и везли в очередной колымский Освенцим, колымские спецзоны, лагеря уничтожения после тридцать восьмого года, когда вся Колыма была таким лагерем уничтожения.

Два года назад отсюда меня увели на суд — восемнадцать километров — тайгой, пустык для бойцов — они спешили

в кино, и совсем не пустяк для человека, просидевшего месяц в слепом темном карцере на кружке воды и "трехсотке" хлеба.

И карцер я нашел, вернее след от карцера, ибо давно лагерный изолятор был новый — дело росло. Я вспомнил, как заведующий изолятором боец охраны боялся выпустить меня мыть посуду на солнце — на проток, не речки, а деревянного желоба с бутары — все равно это было лето, солнце, вода. Заведующий изолятором боялся пускать меня мыть посуду, а мыть посуду самому было не то что лень, а просто позорно для заведующего изолятором. Не по должности. А арестант, сидевший без вывода, был только один — я. Другие штрафники ходили — их-то посуду и надо было мыть. Я и мыл охотно — за воздух, за солнце, за супчик. Кто знает, не будь единственной прогулки — дошел ли я тогда на суд, вытерпел ли все побои, которые мне достались.

Старый изолятор был разобран, и только следы его стен, выгоревшие ямы от печей остались, и я сел в траву, вспоминая свой суд, свой "процесс".

Груда старых железок, связка, которая легко распалась, и, перебирая железки, я вдруг увидел свой нож, маленькую финку, подаренную мне когда-то больничным фельдшером на дорогу. Нож не очень был мне нужен в лагере — я легко обходился и без ножа. Но каждый лагерник гордится таким имуществом. С обеих сторон лезвия была крестообразная метка напильником. Этот нож отобрали у меня при аресте два года назад. И вот он снова у меня в руках. Я положил нож в груду ржавых железок.

Два года назад я въезжал сюда с Варпаховским — он давно был в Магадане, с Заславским — он давно был в Сусумане, а я? Я приезжаю в спецзону вторично.

— Ивана-Грека увели.

— Подойди.

Я уже знал, в чем дело. Хлястик на моей телогрейке, отложной воротник на моей телогрейке, бумажный вязаный шарф, широкий полутораметровый шарф, который я тщетно старался скрыть, привлек опытное око лагерного старосты.

— Растегнись!

Я растегнулся.

— Сменяем. — Староста показал на шарф.

— Нет.

— Смотри, хорошо дадим.

— Нет.

— Потом будет поздно.

— Нет.

Началась правильная охота за моим шарфом, но я берег его хорошо, привязывал на себя во время бани, никогда не снимал. В шарфе скоро завелись вши, но и эти мученья я был готов перенести, лишь бы сохранить шарф. Иногда ночами я снимал шарф, чтобы отдохнуть от укусов вшей, и видел на свету, как шарф шевелится, движется. Так много было там вшей. Ночью как-то было невтерпеж, растопили печку, было непривычно жарко, и я снял шарф и положил его рядом с собой на нары. В то же время шарф исчез, и исчез навсегда. Через неделю, выходя на развод и готовясь упасть в руки надзирателей и лететь вниз с горы, — я увидел старосту, стоящего у ворот вахты. Шея старосты была закутана в мой шарф. Разумеется, шарф был выстиран, прокипячен, обеззаражен. Староста даже не взглянул на меня. Да и я поглядел на свой шарф только один раз. На две недели хватило меня, моей бдительной борьбы. Наверно, хлеба староста заплатит вору меньше, чем дал бы мне в день приезда. Кто знает. Я об этом не думал. Стало даже легко, и укусы на шее стали подживать, и спать я стал лучше.

И все-таки я никогда не забуду этот шарф, которым я владел так мало.

В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддержавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы. Много раз попадал я в больницу, девять лет жил от больницы до забоя ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостью. Много раз уезжал я из больницы, чтобы на первой же пересылке меня раздели блатари или лагерное начальство.

Спецзона разрослась; вахта, изолятор, "простреливаемые" с караульных вышек, были новыми. Новыми были и вышки, но столовая была все та же, где в мое время, два года назад, бывший министр Кривицкий и бывший журналист Заславский развлекались на глазах у всех бригад страшным лагерным развлечением. Подбрасывали хлеб — пайку-трехсотку — оставляли на столе без присмотра, как ничью, как пайку дурака, который "покинул" свой хлеб, и кто-нибудь из доходяг, полусумасшедших от голода, на эту пайку бросался, хватал ее со стола, уносил в темный угол и цинготными зубами, оставляющими следы крови на хлебе, пытался этот черный хлеб проглотить. Но бывший министр был и бывший врач — знал, что голодный не проглотит хлеб мгновенно, зубов у него не хватит, и давал спектаклю развернуться, чтобы не было пути назад, чтобы доказательства были убедительней.

Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного "на живца". Каждый считал своим долгом — ударить, наказать за преступление — и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.

Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.

Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.

Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миски классическим, ловким движением языка, и сам вылизывал миску столь же ловко — думал: скоро на столе будет появляться хлеб-приманка, хлеб-"живец". Уже есть наверное здесь и бывший министр и бывший журналист, работодатели, провокаторы и лжесвидетели. Игра "на живую" была очень в ходу в спецзоне в мое время.

Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда "гонораром" служит пайка хлеба, и по взаимному условию, — вернее, — из этой пайки сколько женщина успевала съесть — пока они лежали вместе. Все, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.

"Я паечку-то заморожу в снегу заранее, и сую ей в рот — много не угрызет мерзлую... Иду обратно — и паечка цела".

Это бессердечие блатарской любви — вне человека. Человек не может придумать себе таких развлечений, может только блатарь.

День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.

Все еще я старался выползти за ворота "зоны", выйти на работу. Только не отказ от работы. За три отказа — расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для "спецзон".

Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что шагал я плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.

Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы — а лошадь тащила мимо нас на волокуше очередную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же — к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно — придет этот новый вечер, новая ночь, новый день — или нет.

Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.

Гусева. Гусева! Гусев поможет.

Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого-то нового барака — мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.

Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку, — указал, кого нужно бить, и того били всем бараклом, и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахара, горсть компоту — не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.

Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получалось. Не та сила у меня была, не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.

Гусев отказался.

— Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают членовредителей и ты ухватил бы три года добавки. Но я не стану. Я помню компот. Но братья за лом не проси, я этого не сделаю.

— Почему?

— Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это сделал я.

— Я не скажу.

— Кончен разговор.

Надо было искать какую-то работу еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше...

Работником я оказался неподходящим.

— Что же ты, — говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку, — не хочешь работать.

— Я не могу.

— Ты говоришь "не могу" мне — врачу.

Вы ведь не врач, хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но "не веришь — прими за сказку". Каждый в лагере — арестант или вольный, все равно — работяга или начальник — тот, за кого он себя выдает... С этим считаются и формально, и по существу.

Конечно, доктор Ямпольский — начальник санчасти, а я — работяга, штрафник, спецзональник.

— Я теперь понял тебя, — говорил злобно доктор. — Я тебя выучу жить. — Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.

— Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь...

Но завтра не наступило.

Ночью, вырвавшись вверх по ручью, до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя приползли к воротам зоны и стали сгружаться. В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.

Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Нет. Впрочем, "власовцы" звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких — слишком близко и живо. Защитный рефлекс говорил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла расспрашивать.

В спецзоне, на прииске "Джелгала", давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора.

Их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходят.

Для репатриантов это был конец пути, начавшийся в Италии, в митингах. Родина вас зовет, Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.

Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб — и это было у меня, — дорога была длинная и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток—Магадан — пять суток, потом бесконечные сутки транзиток, и вот конец пути — Джелгала.

На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление — в неизвестность — пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним больше в жизни мы не встречались.

Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.

— Значит репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас...

Было начало сентября, начиналась зима колымская...

У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на "воле", начиная с Италии — небольшую бумагу, документ, Манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его "РОА" мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.

— А что им за это будет? — спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.

— Да ничего не будет.

Сколько из них было офицеров — я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуры.

Года через два после этих событий мне случилось работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность — дневальный, бригадир, санитар — обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.

У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.

— Вы работаете в санчасти?

— Да, в санчасти.

— Санитаром назначили Малиновского — позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.

— Это не мое дело.

— А чье же? К кому же мне обратиться?

— Не знаю.

— Странно. А шелковая рубашка нужна кому-нибудь?

— Не знаю.

Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.

— Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев!

И тогда новенький сказал тихо: — Мы хоть Италию видели! А вы?

И дневальный помрачнел, замолчал.

Колыма не испугала репатриантов.

— Нам тут все в общем нравится. Жить можно. Не пойму только, почему ваши в столовой никогда не едят

хлеба — эту двухсотку или трехсотку — кто как наработал. Ведь тут проценты?

— Да, тут проценты.

Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.

Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.

Но мне не захотелось отвечать.

— Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же самое.

###

ШАХМАТЫ ДОКТОРА КУЗЬМЕНКО

Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол.

– Прелесть какая, – сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей ювелирной работы, игра на тему – смутное время в России. Польские жолнеры, казаки окружали высокую фигуру Первого Самозванца, короля белых. У белого ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетманы Сапега и Радзивилл стояли на доске, как офицеры Самозванца, как в своей польской партии. Партия черных была в монашеской одежде, митрополит Филарет возглавлял ее. Пересвет и Ослябя в латах, поверх феерических ряс, держали короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях А-8 и Н-8.

– Прелесть и есть, не наглажусь, только, – сказал я, – историческая неточность. Первый Самозванец не осаждал Лавры.

– Да, да, – сказал доктор, – вы правы. А не казалось вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был Первый Самозванец.

– Гришка Отрепьев.

– Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятная. Пушкинская, правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот у поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора... Им принадлежит толкование событиям. Это девятнадцатый век с его жаждой объяснения необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы все. И верили бы только документу.

– Есть письмо Самозванца.

– Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле. Все же, кто он? Никто не знает, кто был русский государь, – вот что такое польская тайна, – и сила историков – стыдная вещь! Если б дело было в Германии, где-нибудь нашлись бы документы. Немцы любят документы. А высокие хозяева Самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито из тех, кто прикоснулся к этой тайне!

– Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну.

– Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Мандельштама – не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти, от побоев, от голода и холода. В обстоятельствах смерти расхождений нет, и каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина. Его следы ищут 30 лет. Родственникам бывших партийных вождей, вроде Бухарина, Рыкова, выдали справки о смерти. Справки эти растянуты на многие годы, от тридцать седьмого до сорок пятого, но никто и нигде не встречался с этими людьми после тридцать седьмого или тридцать восьмого года. Все эти справки для утешения родственников, сроки смерти произвольные. Вернее будет предположить, что все они расстреляны не позже тридцать восьмого года в подвалах Москвы.

– Мне кажется...

– А вы помните Кулагина?

– Скульптора?

– Да. Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, сменной в лагере на номер, а номер был вновь сменен на третью фамилию.

– Слышал я о таких штуках, – сказал я.

— Вот эти шахматы — его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер идеи. Удача — вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид. Две игры Кулагин так сделал. Вторая — завоевание Мексики Кортесом, мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское смутное время увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем ли — всякая железка запрещена в тюрьме.

— Тут не хватает двух фигур, — сказал я, — черного ферзя и белой ладьи.

— Я знаю, — сказал Кузьменко, — ладьи нет вовсе, а черный ферзь, у него нет головы, заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры смутного времени был ферзем.

Алиментарная дистрофия — страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии и так далее. Тоже погоня за пальмой, хоть и на арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде. В официальных документах, в историях болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации...

— Я знаю.

— Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов — вес костей и кожи, — необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из

да знаменитой колымской триады: деменция, диарея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция?

Безумие, да-да, — безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие.

Когда Кулагина привезли, я — врач — сразу понял, что признаки деменции мой больной обнаружил давно. Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал все дезинфекции и блатарскую жадность. Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только вначале, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук, мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтоб уничтожить, стереть свой след с земли. На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки — они спасли бы Кулагина. Но нужно ли было ему спасение? Я не велел доставать ладью из желудка, во время вскрытия это можно было сделать, и голову ферзя тоже. Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро!

— Нет, — сказал я, — мне что-то расхотелось.

###

ЧУЖОЙ ХЛЕБ

Это был чужой хлеб, хлеб моего товарища. Товарищ верил только мне, он ушел работать в дневную смену, а хлеб остался у меня в маленьком русском деревянном баульчике. Сейчас таких баульчиков не делают, а в двадцатых годах московские красотки щеголяли ими — такими спортивными чемоданчиками "крокодиловой" кожи из дерматина. В баульчике был хлеб, пайка хлеба. Если встряхнуть коробку рукой, хлеб перевалится внутри коробки. Баул лежал у меня под головой. Я долго не спал. Голодный человек плохо спит. Но я не спал именно потому, что в головах у меня был хлеб, чужой хлеб, хлеб моего товарища. Я сел на койке... Мне казалось, что все смотрят на меня, что все знают, что я собираюсь сделать. Но дневальный у окна ставил заплату на что-то. Другой человек, чьей фамилии я не знаю, тоже, как и я, работал в ночной смене и лежал сейчас на чужом месте в середине барака, ногами к теплой железной печке. Ко мне это тепло не доходило. Человек этот лежал на спине, вверх лицом. Я подошел к нему — глаза его были закрыты. Я взглянул на верхние нары — там в углу барака кто-то спал или лежал, укрывшись ворохом тряпья. Я снова лег на свое место, решившись твердо заснуть. Я досчитал до тысячи и снова встал. Я открыл баул и вынул хлеб. Это была пайка "трехсотка", холодная, как кусок дерева. Я поднес ее к носу, и ноздри тайно уловили чуть заметный запах хлеба. Я положил кусок обратно в баул и снова его вынул. Я перевернул коробку и высыпал на

ладонь несколько хлебных крошек. Я слизнул их языком, сейчас же рот наполнился слюной и крошки растаяли. Я больше не колебался. Я отщипнул три кусочка хлеба маленьких, с ноготь мизинца, положил хлеб в баул и лег. Я отщипывал и сосал крошки хлеба. И я заснул, гордый тем, что я не украл хлеба товарища.

###

ЭКЗАМЕН

Я выжил, вышел из Колымского ада только потому, что я стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен. Но еще раньше, десять месяцев раньше, был другой экзамен — приемный, более важный, смысла особого — и для меня и для моей страны. Испытание на разрыв было выдержано. Миска лагерных щей была чем-то вроде амброзии, что ли: в средней школе я не получил сведений о пище богов. По тем же самым причинам, по каким я не знал химической формулы гипса.

Мир, где живут боги и люди, — это единый мир. Есть события одинаково грозные и для людей и для богов. Формулы Гомера очень верны. Но в гомеровские времена не было уголовного подземного мира, мира концлагерей. Подземелье Плутона кажется раем, небом по сравнению с этим миром. Но и этот наш мир — только этажом ниже Плутона; люди поднимаются и оттуда на небеса и боги иногда спускаются, сходят по лестнице — ниже ада.

На эти курсы государство велело принимать "бытовиков", а из пятьдесят восьмой статьи только десятый пункт "агитация" — и никаких других пунктов.

У меня была как раз пятьдесят восьмая пункт десять — я был осужден в войну за заявление, что Бунин — русский классик. Но ведь я был осужден дважды и трижды по статьям, непригодным для полноценного курсанта. Но попробовать стоило: в лагерном учете после акций тридцать

седьмого года, да и войны, была такая неразбериха, что поставить жизнь на ставку стоило.

Судьба — бюрократка, формалистка. Замечаю, что занесенный над головой осужденного меч палача так же трудно остановить, как и руку тюремщика, отмыкающего дверь на свободу. Везенье, рулетка, Монте-Карло, поэтизированный Достоевским символ слепого случая вдруг оказались научно познаваемой схемой — предметом большой науки. Страстная воля постичь "систему" в казино сделала ее научной, доступной изучению.

Вера в счастье, в удачу — в предел этой удачи доступна ли человеческому пониманию? И чутье, слепая животная воля к выбору, — не основано ли на большем, чем случайность? Пока везет — надо на все соглашаться, — говорил мне лагерный повар. В везенье ли дело? Несчастье неостановимо. Но и счастье неостановимо. Вернее — то, что арестанты называют счастьем, арестантской удачей.

Довериться судьбе при счастливом попутном ветре и повторить в миллионный раз плаванье Контики по человеческим морям?

Или другое — вклиниться в щель клетки — нет клеток без щели! — и выскользнуть назад, в темноту. Или втиснуться в ящик, который везут к морю и где тебе нет места, но пока это разберут, бюрократическая формальность тебя спасет.

Все это — тысячная часть мыслей, которые могли бы, но вовсе не приходили мне тогда в голову.

Приговор был оглушитель. Мой живой вес был уже доведен до нужных для смерти кондиций. Следствие в слепом карцере без окон и света под землей. Месяц на кружке воды и трехсотке черного хлеба.

Впрочем, я сидел в карцерах и покрепче. Дорожная командировка на Кадыкчане расположена на месте штрафзоны. Штрафзоны, спецзоны, колымские освещены и

колымские золотые прииски меняют места, находятся в вечном грозном движении, оставляя после себя братские могилы и карцеры. На дорожной командировке Кадыкчан карцер был вырублен в скале, в вечной мерзлоте. Достаточно было там переночевать — и умереть, простыть до смерти. Восемь килограммов дров не спасут в таком карцере. Карцером этим пользовались дорожники. У дорожников было свое управление, свои законы бесконвойные — своя практика. После дорожников карцер перешел в лагерь Арказал, и начальник Кадыкчанского участка, инженер Киселев, тоже получил право сажать "до утра". Первый опыт был неудачен: два человека, два воспаления легких, две смерти.

Третьим был я. "Раздеть, в белье и в карцер до утра". Но я был опытнее тех. Печка, которую странно было топить, ибо ледяные стены таяли и потом опять замерзали, лед над головой, под ногами. Пол из накатника давно был сожжен. Я прошагал всю ночь, спрятав в бушлат голову, и отделался отморожением двух пальцев на ногах.

.....

Побелевшая кожа, обожженная июньским солнцем до коричневого цвета в два-три часа. Меня судили в июне — крошечная комната в поселке Ягодном, где все сидели притиснутые друг к другу — трибунальщики и конвоиры, обвиняемый и свидетели — где было трудно понять, кто подсудимый и кто судья.

Оказалось, что вместо смерти приговор принес жизнь. Преступление мое каралось по статье более легкой, чем та, с которой я приехал на Колыму.

Кости мои ныли, раны-язвы не хотели затягиваться. А самое главное, я не знал, смогу ли я учиться. Может быть рубцы в моем мозгу, нанесенные голодом, холодом, побоями и толчками, — навечно и я до конца жизни обречен лишь рычать как зверь над лагерьной миской — и думать только

о лагерном. Но рискнуть стоило — столько-то клеток мозга сохранилось в моем мозгу, чтобы принять это решение. Звериное решение звериного прыжка, чтобы выбраться в царство человека.

А если меня избьют и выбросят с порога курсов — вновь в забой, к ненавистой лопате, к кайлу — ну что ж! Я просто останусь зверем — вот и все.

Все это было моим секретом, моей тайной, которую так просто было хранить — достаточно о ней не думать. Я так и делал.

Машина давно съехала с укатанной центральной трассы, дороги смерти, и подпрыгивала на ухабах, ухабах, ухабах, била меня о борта. Куда везла меня машина? Мне было все равно куда — не будет хуже того, что было за моей спиной в эти десять лет моих лагерных скитаний от забоя до больницы. Колесо лагерной машины влекло меня к жизни, и жадно хотелось верить, что колесо не остановится никогда.

Да, меня принимают в лагерное отделение, вводят в "зону". Дежурный вскрыл пакет и не закричал мне — отойди в сторону! Подожди. Баня, где я бросаю белье — подарок врача — у меня ведь не всегда не было белья в моих приисковых скитаниях. Подарок на дорогу. Новое белье. Здесь в больничном лагере другие порядки — здесь белье "обезличено" по старинной лагерной моде. Вместо крепкого бязевого белья мне дают какие-то заплатанные обрывки. Это все равно. Пусть обрывки. Пусть обезличенное белье. Но я радуюсь белью не особенно долго. Если "да", то я еще успею отмыться в следующих банях, а если "нет", то и отмываться не стоит. Нас приводят в бараки, двухнарные бараки вагонной системы. Значит да, да, да... Но все еще впереди. Все тонет в море слухов. Пятьдесят восемь шесть — не принимают.

После этого объявления, одного из нас, Лунева, увозят, и он исчезает из моей жизни навсегда.

Пятьдесят восемь один — а! — Не принимают. КРТД — ни в коем случае! Ни в коем случае. Это хуже всякой измены родине.

А КРА? "КРА" — это все равно, что пятьдесят восемь пункт десять. КРА принимают.

А "АСА"? У кого "АСА"? — У меня, сказал человек с бледным и грязным тюремным лицом — тот, с которым мы тряслись вместе в одной машине.

АСА — это все равно, что КРА. А КРД? КРД — это, конечно, не КРТД, но и не КРА. На курсы КРД не принимают.

Лучше всего чистая пятьдесят восьмая пункт десять без всяких там литерных замен.

Пятьдесят восемь — пункт 7 — вредительство. Не принимают. Пятьдесят восемь — восемь. Террор. Не принимают.

У меня — пятьдесят восемь. Десятый пункт. Я остаюсь в бараке.

Приемная комиссия фельдшерских курсов при Центральной лагерной больнице допустила меня к испытаниям. Испытания? Да, экзамены. Приемный экзамен. А что вы думали. Курсы — серьезное учреждение, выдающее документы. Курсы должны знать, с кем имеют дело.

Но не пугайтесь. По каждому предмету — русский язык письменный, математика — письменная и химия — устный экзамен. Три предмета — три зачета. Со всеми будущими курсантами — больничные врачи, преподаватели курсов, проведут беседы до экзамена. Диктант. Девять лет не разгибалась моя кисть, согнутая навечно по мерке лопаты — и разгибающаяся только с хрустом, только в бане, распаренная в теплой воде.

Я разогнул пальцы левой ладонью, вставил ручку, обмакнул перо в чернильницу-непроливайку и дрожащей рукой, холодея от пота, написал этот проклятый диктант. Боже мой!

В двадцать шестом году — двадцать лет назад последний раз держал я экзамен по русскому языку, поступая

в Московский университет. На "вольной теме" я "выдал" двести процентов — был освобожден от устных испытаний. Здесь не было устных испытаний. Тем более! Тем более — внимание! Тургенев или Бабаевский? Это мне было решительно все равно. Нетрудный текст... Проверил запятые, точки. После слова "мастодонт" точка с запятой. Очевидно, Тургенев. У Бабаевского не может быть никаких мастодонтов. Да и точек с запятой.

"Я хотел дать текст Достоевского или Толстого, да испугался, что обвинят в контрреволюционной пропаганде", — рассказывал после мне экзаменатор, фельдшер Борский. Проводить испытания по русскому языку отказались дружно все профессора, все преподаватели, не надеясь на свои знания. Назавтра ответ. Пятерка. Единственная пятерка, итоги диктанта — плачевны.

Собеседования по математике испугали меня. Задачки, которые надо было решить, решались, как озарение, наитие, вызывая страшную головную боль. И все же решались.

Эти предварительные собеседования, испугав меня сначала, успокоили. И я жадно ждал последнего экзамена, вернее последней беседы — по химии. Я не знал химии, но думал, что товарищи расскажут. Но никто не занимался друг с другом, каждый вспоминал свое. Помогать другим в лагере не принято, и я не обижался, а просто ждал судьбы, рассчитывая на беседу с преподавателем. Химию на курсах читал академик Украинской академии наук Бойченко — срок двадцать пять и пять — Бойченко принимал и экзамены.

В конце дня, когда было объявлено об экзаменах по химии, нам сказали, что никаких предварительных бесед Бойченко вести не будет. Не считает нужным. Разберется на экзамене.

Для меня это было катастрофой. Я никогда не учил химию. В средней школе в гражданскую войну наш преподаватель химии Соколов был расстрелян. Я долго лежал

в эту зимнюю ночь в курсантском бараке, вспоминая Вологду гражданской войны. Сверху меня лежал Суворов — приехавший на экзамен из такого же дальнего горного управления, как и я, и страдавший недержанием мочи. Мне было лень ругаться. Я боялся, что он предложит поменяться местами — и тогда он жаловался бы на своего верхнего соседа. Я просто отвернул лицо от этих зловонных капель.

Я родился и провел детство в Вологде. Этот северный город — необыкновенный город. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка — протестанты, бунтари, критики разные — в течение многих поколений создали здесь особый нравственный климат — выше уровнем любого города России. Здесь моральные требования, культурные требования были гораздо выше. Молодежь здесь раньше рвалась к живым примерам, жертвенности, самоотдаче.

И всегда я с удивлением думал о том, что Вологда — единственный город в России, где не было никогда ни одного мятежа против советской власти. Такие мятежи потрясли весь Север: Мурманск, Архангельск, Ярославль, Котлас. Северные окраины горели мятежами — вплоть до Чукотки, до Олы, не говоря уж о юге, где каждый город испытывал не однажды смену властей.

И только Вологда, снежная Вологда, ссыльная Вологда — молчала. Я знал, почему... Этому было объяснение.

В 1918 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М.С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта был расстрел заложников. Двести человек было расстреляно в Вологде, городе, где население шестнадцать тысяч человек. Котлас, Архангельск — все счет особый.

Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским.

Акция была настолько необычной даже по тем кровавым временам, что от Кедрова потребовали объяснений в Москве. Кедров не моргнул глазом. Он выложил на стол

ни много, ни мало, как личную записку Ленина. Она была опубликована в Военном историческом журнале в начале шестидесятых годов, а может быть чуть раньше. Вот ее приблизительный текст: "Дорогой Михаил Степанович. Вы назначаетесь на важный для республики пост. Прошу вас не проявить слабости. Ленин".

Впоследствии ряд лет в ВЧК-МВД работал Кедров, все время кого-то разоблачая, донося, следя, проверяя, уничтожая врагов революции. В Ежове Кедров видел наиболее ленинского наркома — сталинского наркома. Но Берия, сменивший Ежова, не понравился Кедрову. Кедров организовал слежку за Берия. Результаты наблюдения Кедров решил вручить Сталину. К тому времени подрос сын Кедрова — Игорь, работавший, как и отец, в МВД. Сговаривались так, что сын подает рапорт по начальству — и если его арестуют — отец сообщит Сталину, что Берия — враг. Пути этой связи у Кедрова были очень надежные.

Сын подал рапорт по службе, был арестован и расстрелян. Отец написал письмо Сталину, был арестован и подвергнут допросу, который вел лично Берия. Берия сломал Кедрову позвоночник железной палкой.

Сталин просто показал Берии письмо Кедрова.

Кедров написал второе письмо Сталину о своей сломанной спине, о допросах, которые вел Берия.

После этого Берия застрелил Кедрова в камере. И это письмо Сталин показал Берии. Вместе с первым оно было найдено в личном сейфе Сталина после его смерти.

Об обоих письмах, их содержании и обстоятельствах этой переписки "на высшем уровне" рассказал Хрущев на XX съезде совершенно открыто. Все это повторил биограф Кедрова в своей книге о нем.

Вспоминал ли Кедров перед смертью вологодских заложников, расстрелянных им, не знаю.

Наш преподаватель химии Соколов был расстрелян среди этих заложников. Вот почему я никогда не учил химии. Не знал науки господина Бойченко, который не нашел времени для консультации.

Значит, ехать назад, в забой, и так и не быть человеком. Постепенно во мне копилась, стучала в висках старая моя злоба, и я уже ничего не боялся. Должно было что-то случиться. Полоса удач так же неотвратима, как полоса бед — это знает каждый игрок в карты, в торц, в рамс, в очко... — Ставка была очень велика.

Попросить у товарищей учебник? Учебников не было. Попросить рассказать хоть о чем-нибудь химическом? Но разве я имею право отнимать время у моих товарищей? Ругательство — единственный ответ, который я могу получить.

Осталось собраться, сжаться — и ждать.

Как много раз события высшего порядка повелительно, властно входили в мою жизнь, диктуя, спасая, отталкивая, нанося раны, незаслуженные, неожиданные... Важный мотив моей жизни был связан с этим экзаменом, с этим расстрелом четверть века назад.

Я экзаменовался одним из первых. Улыбающийся Бойченко, в высшей степени расположенный ко мне. В самом деле — перед ним хоть и не академик Украинской академии наук, не доктор химических наук, но грамотный как будто человек, журналист, две пятерки. Правда одет бедновато, да и исхудал филон, наверно симулянт. Бойченко еще не ездил дальше 23 километра от Магадана, от уровня моря. Это была его первая зима на Колыме. Каков бы лодырь ни стоял перед ним, надо ему помочь.

Книга протоколов — вопросы, ответы — лежала перед Бойченко.

— Ну, с вами, надеюсь, мы не задержимся. Напишите формулу гипса.

— Не знаю.

Бойченко остолбенел. Перед ним был наглец, который не хотел учиться.

– А формулу извести?

– Тоже не знаю.

Мы оба пришли в бешенство. Первым сдержался Бойченко. Под этим ответом крылись какие-то тайны, которые Бойченко не хотел, или не умел понимать, но возможно, что к этим тайнам надо отнестись с уважением. Притом его предупреждали. Вот весьма подходящий курсант. Не придирайтесь.

– Я должен по закону задать тебе, – Бойченко уже перешел на ты, – три вопроса под запись. Два я уже задал. Теперь третий: "Периодическая система элементов Менделеева".

Я помолчал, вызывая в мозг, в гортань, на язык и губы все, что мог знать о периодической системе элементов. Конечно, я знал, что Блок женат на дочери Менделеева, мог бы рассказать все подробности этого странного романа. Но ведь не это нужно доктору химических наук. Кое-как я пробормотал что-то очень далекое от периодической системы элементов под презрительным взглядом экзаменатора.

Бойченко поставил мне тройку, и я выжил, я вышел из ада.

Я кончил курсы, кончил срок, дождался смерти Сталина и вернулся в Москву.

Мы не познакомились и не разговорились с Бойченко. За время ученья на курсах Бойченко ненавидел меня и считал, что мои ответы на экзамене – личное оскорбление деятеля науки.

Бойченко никогда не узнал о судьбе моего учителя химии, расстрелянного вологодского заложника.

А потом было восемь месяцев счастья, непрерывного счастья, жадного поглощения, всасывания знаний, ученья, где зачетным баллом для каждого курсанта была жизнь, и знавшие это преподаватели – все кроме Бойченко –

отдавали пестрой неблагодарной арестантской толпе все свои знания, все умение, полученное на работах по рангу не ниже бойченковского.

Экзамен на жизнь был выдержан, государственный экзамен сдан. Все мы получили право лечить, жить, надеяться. Я был послан фельдшером в хирургическое отделение большой лагерной больницы, лечил, работал, жил, превращался — очень медленно — в человека.

Прошло около года.

Неожиданно я был вызван к начальнику больницы доктору Доктору. Это был бывший политотделец, посвятивший всю свою колымскую жизнь вынюхиванию, разоблачению, бдительности, розыску, доносам, преследованиям заключенных, осужденных по политическим статьям.

— Заключенный фельдшер такой-то явился по вашему вызову...

Доктор Доктор был белокур, рыжеват — и носил пушкинские бакенбарды. Он сидел у стола и перелистывал мое личное дело.

— А скажи-ка мне, как ты попал на эти курсы?

— Как арестант попадает на курсы, гражданин начальник? Его вызывают, берут его личное дело, дают личное дело конвоиру, сажают в машину, везут в Магадан. Как же еще, гражданин начальник?

— Иди отсюда, — сказал доктор Доктор, белея от бешенства.

###

ВОДОПАД

В июле, когда температура днем достигает сорока по Цельсию – тепловое равновесие континентальной Колымы, повинуясь тяжелой силе внезапных дождей, на лесных полянках поднимаются, пугая людей, неестественно огромные маслята со скользкими змеиными шкурами, пестрыми змеиными шкурами – красные, синие, желтые... Внезапные эти дожди приносят тайге, лесу, камню, мхам, лишайнику – только минутное облегчение. Природа и не рассчитывала на этот плодоносящий, животворный, благодетельный дождь. Дождь раскрывает все скрытые силы природы – и шляпки маслят тяжелеют, растут – по полметра в диаметре. Это пугающие, чудовищные грибы. Дождь приносит лишь минутное облегчение – в глубоких ущельях лежит зимний, навечный лед. Грибы, их молодая грибная сила вовсе не для льда. И никакие дожди, никакие потоки воды не страшны этим гладким алюминиевым льдинам. Лед прикрывает собой камень русла, становится похожим на цемент взлетной дорожки аэродрома... И по руслу, по этой взлетной дорожке, убыстряя свое движение, свой бег, летит вода, соединившаяся с растаявшим снегом, снег превратившая в воду и позвавшая в небо, в полет...

Бурная вода сбегает, слетает с горных вершин по ущельям, добирается до русла реки, где поединок солнца и льда уже закончен, лед растаял. В ручье лед еще не растаял. Но трехметровый лед ручью не помеха. Вода бежит прямо к реке по этой мерзлой взлетной дорожке. Ручей в синем небе

кажется алюминиевым, непрозрачным, но светлым и легким алюминием. Ручей разбегается по гладкому блестящему льду. Разбегается и прыгает в воздух. Ручей давно, еще в начале бега, в вершинах скал считает себя самолетом, и взвиться над рекой — единственное желание ручья.

Разбежавшийся сигарообразный, алюминиевый ручей взлетает в воздух, прыгает с обрыва в воздух. Ты — холоп Никитка, придумавший крылья, придумавший птичьи крылья. Ты — Татлин-”Летатлин”, доверивший дереву секреты птичьего крыла. Ты — Лилиенталь.

Разбежавшийся ручей прыгает и не может не прыгать — набегающие волны теснят тех, кто ближе к обрыву.

Прыгает в воздух и разбивается о воздух. У воздуха оказывается каменная сила, каменное сопротивление — только на первый взгляд издали воздух кажется ”средой” из учебников, свободной средой, где можно дышать, двигаться, жить, летать.

Ясно видно, как хрустальная струя воды ударяется о голубую воздушную стену, прочную стену, воздушную стену. Ударяется и разбивается вдребезги — в брызги, в капли, бессильно падая с десятиметровой высоты в ущелье.

Оказывается, что гигантской воды, скопленной в ущельях, в разбеге, — силы, достаточной для того, чтобы сокрушить скалистые берега, выворачивать деревья с корнем и бросать их в поток, шатать и разламывать скалы, сметать все на своем пути в законе половодья, потока — этой силы мало, чтобы справиться с косностью воздуха, того самого воздуха, которым так легко дышать, воздуха, который прозрачен и уступчив, уступчив до невидимости и кажется символом всякой свободы. У этого воздуха, оказывается, есть такие косные силы, с которыми не сравнится никакая скала, никакая вода.

Брызги, капли мгновенно соединяются вновь, снова падают, снова разбиваются и с визгом, ревом добираются

до русла — огромных каменных валунов, шлифованных веками, тысячелетиями...

Ручей доползает до русла реки по тысяче дорожек между валунов, камней, камешков, которые капли, ручейки, ниточки укрощенной воды боятся и пошевелить. Ручей, разбитый, укрощенный, тихо, беззвучно вползает в реку, очерчивая светлый полукруг в темной воде, бегущей мимо реки. Реке нет дела до этого ручья - "Летатлина", ручья-Лилянталя. Реке некогда ждать. Впрочем, река чуть отступает, давая место светлой воде разбитого ручья, и видно, как поднимаются из глубины к светлому полукругу, заглядывая в ручей, горные хариусы. Хариусы стоят в темной реке близ светлого полукруга воды, на устье ручья. Рыбная ловля здесь неизменно хороша.

###

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем.

Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности, — не разрушенной, не отрезвленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.

Этот странный подарок — иссушенную, продутую ветрами самолетов — мятую, изломанную в почтовом багаже, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду.

Ставят в консервную банку, налитую злой, хлорированной, обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама может и рада задушить все живое — московская мертвая водопроводная вода.

Лиственница — серьезней цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени в горячую воду — расщепляя ветки и окуная в кипяток.

Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к Черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки — черемухи, сирени.

Это понимает хозяйка. Понимает это и лиственница.

Повинуясь страстной человеческой воле, ветка собирает все свои силы — физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть от только физических сил — московского

тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. В ветке разбужены иные, тайные силы.

Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного, скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, ярко-зеленые иглы свежей хвои.

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскресения не может не быть — ведь лиственница поставлена в банку с водой — в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки — поэта.

Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы.

Этот нежный запах, эта ослепительная зелень игл — важные начала жизни. Слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой — скрытые в лиственнице и показавшиеся на свет...

Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила, не задушила бы этот запах, не потушила этот зеленый весенний свет и цвет.

Сколько лет — исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем — лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою.

Сколько лет? Сто. Двести. Шестьсот. Зрелость даурской лиственницы — триста лет.

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе — ровесница Натальи Шереметевой-Долгорукой, и может напомнить о ее горестной судьбе — о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года — с бешеной северной природой, ненавидящей человека — смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников — смертями,

четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет?

После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского — были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгорукой и видела миллионы трупов — бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, — лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие. Наталья Шереметева — все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка от которой ожила на московском столе, уже жила, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лиственница источала — именно источала запах, как сок. Запах переходил в цвет, и не было меж ними границы.

Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов — людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах — это был голос мертвых.

От имени этих мертвых лиственница и осмеливается дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду — это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой — ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой — жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке воды.

Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные. Лиственница — не предмет, не тема для романсов.

Лиственница — дерево очень серьезное. Это — дерево познания добра и зла — не яблоня, не березка! — дерево, стоявшее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая.

Лиственница — дерево Колымы, дерево концлагерей.

На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы — яркие, горопливые, грубые — не имеют запаха. Короткое лето — в холодном, безжизненном воздухе — сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник — рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные — с кулак, — фиалки, ни хudosочный можжевельник, ни вечно-зеленый стланник.

И только лиственница напоминает леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах глени, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже, и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же — мертвецы на Колыме не пахнут — они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Нет, лиственница — дерево, неприглядное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романса. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить о себе. Не память о нем, а память о тех миллионах убитых, замученных заключенных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз: видеть такое, найти мужество не рассказать, не запомнить. Человек и его жена удочерили девочку — заключенную девочку от умершей в больнице матери — хоть в своем, личном смысле взять на себя какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг.

Помочь товарищам, — тем, кто остался в живых после концлагерей Дальнего Севера...

Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.

Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскрешенная, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие.

Шестьсот лет жизни лиственницы — это практическое бессмертие человека.

Что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, — ее возрождение, воскресение — будут вдыхать ее запах — не как память о прошлом, но как живую жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

Вторая книга. Предисловие (М. Геллер)	7
---	---

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим	11
--	----

Четвертая Вологда. Автобиографическая повесть . . .	17
---	----

Рассказы о детстве :

Ворисгофер	219
Берданка	222
Монах Иосиф Шмальц	226
Белка	229

В лагере :

У стремени	237
Тамарин - Мирецкий	249
Борис Южанин	262
Вечерняя молитва	271
Тропа	275
Начальник политуправления	278
Город на горе	283
Шахматы доктора Кузьменко	296
Чужой хлеб	300
Экзамен	302
Водопад	313
Воскрешение лиственницы	316

ISBN 2-85065-071-4